

Анастасия Вербицкая

Иго любви



Анастасия Алексеевна Вербицкая

Иго любви

Аннотация

«В казенном театре идет трагедия Шиллера *Коварство и любовь*... *Фердинанда* играет знаменитый Мочалов. *Леди Мильфорд* – Львова-Синецкая, *Миллера* – Щепкин, *Луизу Миллер* – Надежда Васильевна Репина.

Только что закончилась эффектная сцена четвертого акта: объяснение скромной мещаночки с ее блистательной соперницей. Репина с небывалым подъемом провела эту сцену. Весь театр аплодирует своей любимице.

Она выходит за кулисы. Как бьется сердце!.. Как ослабели ноги!.. Она видит вдали стул. Идет и садится. Глухо доносится сюда со сцены голос Синецкой... Это монолог *леди Мильфорд*... Репина закрывает глаза...»

Содержание

Книга первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	231

Анастасия Вербицкая

Иго любви

Книга первая

Актриса

*Со всех сторон протянуты к нам руки,
Со всех сторон слышна жестокая мольба,
И на кресте извечном страстной муки
Распят нас могут все, как римляне – раба.*

.....

*О, если бы порвать кошмар наш упоенный,
Отдаться лишь любви, как нежащей волне!
И бросить наше «нет!..» желаний тьме
бездонной,
И бросить наше «да!..» лазурной вышине!*

Н. Львова (Старая сказка).

Время – конец тридцатых годов. Место – Москва.

В казенном театре идет трагедия Шиллера *Коварство и любовь*... Фердинанда играет знаменитый Мочалов. Леди Мильфорд – Львова-Синецкая, Миллера – Щепкин, Луизу Миллер – Надежда Васильевна Репина.

Только что закончилась эффектная сцена четвертого ак-

та: объяснение скромной мешаночки с ее блистательной соперницей. Репина с небывалым подъемом провела эту сцену. Весь театр аплодирует своей любимице.

Она выходит за кулисы. Как бьется сердце!.. Как ослабели ноги!.. Она видит вдали стул. Идет и садится. Глухо доносится сюда со сцены голос Синецкой... Это монолог *леди Мильфорд*... Репина закрывает глаза.

Она добилась признания и славы. Но какой ценой? Боже мой!.. Если так волнуешься, играя уже не в новой пьесе, с заранее обеспеченным успехом, то чего стоит актрисе каждая новая роль? Перебои сердца. Бессонница, уносящая жизнь и разрушающая до времени организм... «За кулисами сгораешь, как в огне. И через десять лет я уже буду старухой», — грустно думает она.

Вот она уже двенадцать лет на сцене. В юности мечтала о драме и трагедии. А что играла?.. Пошлые водевили, оперетки, легкую комедию... Душу отводила только в опере... И вот теперь, под тридцать лет, когда расшатаны нервы, когда ушли силы, ей дают роль *Луизы Миллер*... Горькая ирония!.. Всюду-всюду на дороге ей стоит Орлова...

Даже *Офелию* отдали ей... Еще бы!.. С такими связями...

Ах, если бы взять долгий-долгий отпуск!.. Нет... хотя бы на месяц, как берут его Мочалов и Щепкин!.. Пожить где-нибудь в деревне, среди природы, или в мирном провинциальном городке, далеко от этих дразг, закулисных сплетен и интриг, от штрафов и выговоров начальства!.. Не плакать от

зависти... Не болеть от обиды...

Но разве возможно такое бегство? Исчезнуть со сцены хотя бы на месяц – значит потерять все роли, которые зубами выцарапала у режиссера. Уехать – значит, без борьбы уступить свое место Орловой, Пановой, Сабуровой 2-й... Нет!.. Надо держаться теперь, когда добились, наконец, своего места на сцене...

Но эта усталость... Эта боль в сердце...

Кто-то идет... *Камеристка* леди Мильфорд и ее *камердинер*.

Внимательно следит Репина за высокой, плотной фигурой в ливрее и в седом парике с косичкой. Оба стоят у декорации в ожидании выхода.

Вот иногда какая случайность выдвигает актера... Почти накануне спектакля заболел артист, всегда играющий *камердинера леди Мильфорд*. И роль неожиданно поручили молодому Садовникову. Дали всего одну репетицию. Положим, он уже обыгрался в провинции, не новичок... Но кто знал вчера Садовникова? А нынче весь театр аплодировал ему за его сцену с *леди Мильфорд*. И действительно, что он сделал из этой, казалось, бесцветной роли!.. Сам Мочалов пожал ему руку. «Он некрасив, – думает Репина. – Но глаза умные. И тонкая улыбка... Если не затрут, пойдет далеко. В нем чувствуется сила...»

Ушли. Пора в уборную... Торопливо бегут навстречу статисты, изображающие челядь *леди Мильфорд*. Скоро конец

акта.

Чье это лицо там, из полумрака, глядит бледным пятном? Лицо молодой женщины. Но какая зловещая мимика! Трагически сдвинулись черные брови. Страстной скорбью дышат линии рта. Черные, удлиненной формы, широко расставленные глаза глядят вверх куда-то... Это неподвижный взгляд человека, внезапно сознающего неизбежность гибели... Репина вглядывается, вытянув шею... Странно!.. Вот именно так должна бы, после объяснения с соперницей, глядеть несчастная, обреченная Луиза Миллер.

Странно!.. *Луиза* исчезла сейчас со сцены с уходом Репиной, но каким-то чудом ожила здесь, за мрачными, пыльными кулисами, воплощенная другой женщиной... Что это? Личная скорбь? Или чувство, пережитое только что всеми зрителями и навеянное ее собственной игрой?.. Если снять с этой головы черную вязаную косыночку и надеть на нее чепчик *Луизы*, чье сердце не дрогнет при виде этого лица? Но как ярко надо чувствовать, чтобы так перевоплощаться! Нет... Одного чувства мало. Нужен талант... Кто же эта женщина?..

«Я уже где-то видела это лицо. Видела не раз... Ситцевое платье. На плечах шаль. Простая... Как попала она сюда?.. Как она слушает!.. Во всем театре, наверно, никто не слушает с таким трепетом, с таким напряжением... Ах, вспомнила!.. Ведь это Надежда, наша костюмерша...»

На мгновение артистка чувствует разочарование. Но

опять наперебой бегут мысли: «Ну, так что ж, что она – мешанка?.. Мы-то кто все, кончающие в Театральной школе?.. Дед Мочалова был из крестьян... Щепкин тоже был крепостным...»

«Она еще совсем молоденькая, – думает Репина с завистью. – И кто скажет? Быть может, это тоже талант-самородок? Если я поработаю над ним?.. Если я выдвину ее потом, когда-нибудь, на свои роли? Назло Орловой... Назло всем?..»

Голоса на сцене смолкли. Аплодисменты. Шум... С пятнами на лице, с раздувающимися ноздрями выходит Синецкая за кулисы.

– Мочалова!.. Мочалова! – несутся требовательные, испуганные крики. Стучат ногами, стучат стульями.

– Павел Степаныч... Павел... Да где он?.. Что он с нами делает? – кричит помощник режиссера, пробегая к уборным.

– Мочалова!.. Мочалова-а-а!..

Неторопливо, сосредоточенно, почти мрачно глядя себе под ноги, заложив одну руку за спину, другую за жилет, проходит Мочалов мимо девушки в черной косынке. Все расступаются невольно перед королем сцены.

– Давай занавес! – вопит чей-то голос.

Точно стены рухнули, и посыпались камни. Такой могучий звук разорвал миг внезапно наставшей тишины.

– Браво... Браво... Браво-о-о! – несутся ликующие, восторженные вопли.

Принято аплодировать после каждой удачной сцены или фразы и, прерывая ход действия, выражать непосредственно одобрение артисту. Это варварский обычай, который осуждают любители театра. Вызывают же актеров обыкновенно по окончании пьесы.

Вызывая Мочалова теперь, после четвертого акта, публика нарушает все установившиеся традиции. Но это уже демонстрация, и все театралы это понимают. В первый раз в роли *Фердинанда* Москва видела петербургскую знаменитость, изящного В. А. Каратыгина. Дамы в ложах сошли с ума от его внешности. Партер рукоплескал его искусству. Рецензенты превознесли до небес пластичность его движений, изысканную красоту его игры. Но Репиной, исполнявшей роль *Луизы*, казалось, что холодом веет на нее от певучей декламации гастролера, от его торжественных жестов. Это была умная, тонкая игра. Но это было искусство... Как сравнить того светского щеголя фон Вальтера с бурным, безумным Фердинандом-Мочаловым? Он весь порыв. Весь вдохновение... Он увлекает на сцене других своим стихийным темпераментом, своим вдохновенным самозабвением.

У него нет роста. Нет манер... И... о, ужас!.. Он на днях, играя эту роль, явился к *леди Мильфорд* в расстегнутом мундире... Как злорадно использовали его враги этот промах! И начальство, конечно, поспешило дать ему головомойку... Нынче публика своей демонстрацией протестует против этих нападок.

И сколько за эти годы гениальный самородок, вышедший из низов, претерпел обид и унижений за отсутствие манер и светского лоска! Как легко выдвинулся хотя б этот молодой Самарин, так блистательно играющий изящного Чацкого! Ему не выпадет на долю травля, которую вынес Мочалов. И чего стоило ему при его внешних данных достигнуть положения, признания, славы?.. Что мудреного, если он пьет теперь? Что мудреного, если он угрюм, желчен, разочарован?.. Да, не розами усеян твой путь, гениальный артист! И вознаграждает ли тебя восторженная любовь твоей публики за все незримые страдания и тернии твоего пути?

Приблизительно так думает Репина, прислушиваясь к рукоплесканиям.

Прижав руки к груди и почти плача от счастья, слушает эти клики девушка в черной косыночке. Она благоговейно любит Мочалова!.. Любит его невысокую, сильную фигуру; его живописную голову с черными кудрями; его бледное лицо; его большие скорбные глаза и эту трагическую морщинку между бровей, не исчезающую никогда... Любит его гибкий, богатый теноровый голос, то нежный и страстный, то полный громовых раскатов, то падающий до шепота, который слышен во всех углах театра, – голос, способный выразить всю гамму человеческих чувств...

Вот уже больше года, как она служит здесь портнихой в костюмерной. И каждый вечер она стоит за кулисами, слушает всеми нервами и плачет от блаженства. Она всех зна-

ет в театре. Ей нравится красивый, стройный Самарин, с его певучим, немного слабым голосом и барскими манерами. Он так пленителен в *Лаэрте* и в *Кассио!*.. Ей нравится в комедиях и водевилях молодой, худенький Шумский с его некрасивым, но умным лицом. Когда он играет *Добчинского*, Надежда хохочет до слез... Любит она и грубый юмор комиков Степанова и Орлова, и Живокини с его гуттаперчевым лицом... Как бы ни было тяжело на душе, а вспомнишь его ужимки, и нельзя удержаться от смеха... Она преклоняется перед Щепкиным. И в Петербурге, слышала она, нет такого *Городничего* в *Ревизоре*. Сосницкий куда хуже!..

Орлова решительно не нравится портнихе. Она не любит ее манерности, ее искусственного пафоса. Вот Репина ее любимица! Она точно не играет. Точно живет на сцене... И сейчас Надежда волновалась, слушая объяснение *Луизы с леди Мильфорд*.

Мочалов идет обратно. Но по-прежнему мрачно его лицо. По-прежнему сутулятся его плечи... Статисты и актеры, большие и маленькие, расступаются перед ним, глядят ему вслед с восхищением, а больше с завистью. Девушка в черной косыночке хотела бы устами прикоснуться к краю его расшитого кафтана... За кулисами обо всем говорят, все знают... Он так несчастлив в своей семье, так одинок! Жена у него необразованная, сварливая. Она не ценит его таланта, не понимает его стремлений. Не с кем отвести ему душу...

Точно кто толкнул Мочалова в эту минуту. Он поднима-

ет голову. Видит красивое девичье личико, большие, темные глаза. Они полны благоговейной любви. Они молятся...

Он невольно останавливается...

Как хорошо встретить такие глаза в этом жестоком мире, полном лжи, лести, предательства, клеветы!.. Встретить такое яркое, такое непосредственное чувство!..

– Кто ты?.. Как тебя звать? – шепотом спрашивает он, подходя и пристально всматриваясь своими орлиными глазами.

И она отвечает, не опуская ресниц, глядя на него, как верующий на образ:

– Я – Надежда Шубейкина, Павел Степаныч... Служу здесь в костюмерной...

– А...

Мгновение молча они смотрят в зрачки друг другу.

Никто из них не забыл этого мгновения.

А Репина уже тут как тут. Стоит за спиной Мочалова и глаз не сводит с Надежды.

Мочалов, рассеяннo кивнув портнихе на прощанье, идет дальше, в уборную. Длинные, сверкающие, горячие глаза провожают его.

«Удивительные глаза!.. – думает Репина. – Они все говорят без слов...»

– А я тебя не узнала, милая, – ласково говорит она девушке, внимательно разглядывая это смуглое, немного широкое в скулах и суженное к подбородку, неправильное, но оригинальное лицо.

– Наденька Шубейкина!.. – фамильярно восклицает Садовников. Он подходит и чувственно улыбается. – Это московская испаночка... Взгляните, Надежда Васильевна, какая у нее кожа! Совсем матовая... Всех нас тут она с ума свела. А сама – Несмеяна и Недотрога-царевна... Между прочим, вас обожает... Плачет в три ручья, когда вы играете... Ага! Уже нахмурилась!.. Мимика-то какая!.. Любой артистке впору... Ну... ну... не буду, Наденька...

– Ты замужем?.. Сколько тебе лет?

– Восемнадцать минуло, сударыня. Я сирота и девица...

– А с кем живешь, красавица? – подхватывает Садовников, кладя ей руку на плечо.

Она гневно отстраняется. Рабочие сзади хихикают.

Строго смотрит Надежда в смеющиеся глаза актера.

– Вот она какова!.. Словно еж колется...

– Я живу с дедушкой, сударыня... У меня брат и сестра на руках. Своим трудом всех кормлю.

«А голос хорош. Грудной, гибкий...» – думает Репина.

– Эх, красавица! Цены себе не знаешь! – небрежно смеется Садовников.

Опять кто-то ржет сзади. Репина придвигается внезапно.

– Театр любишь? – срывается у нее быстро, шепотом.

– Люблю, – так же тихо и страстно звучит ответ.

Узкая рука Репиной в кольцах ложится на плечо девушки.

– Грамоте знаешь?

– Знаю, сударыня...

– Завтра, в десять утра, будь у меня.

Надежда благоговейно целует узкую ручку.

Задумчиво идет Репина в свою уборную. А Надежда застенчиво опускает голову и скрывается во мраке кулис. Сзади она слышит смех рабочих.

– Ишь, ты! Голыми руками ее теперь не достанешь!

– Сам Павел Степанович... Куда уж нам, мужикам?

– Уж верно, что еж... колючая... ха!.. ха!..

– В барыни метит...

У лестницы ее уже ждет Садовников. Он все еще в гриме и в пудренном парике. Весело смеются красивые глаза.

– А ко мне когда придешь, Наденька?

Он цепко хватает ее руку, хочет привлечь к груди.

– Не троньте, сударь! Стыдно...

– Чего стыдно, деточка?... Ты мне нравишься...

Сердце ее так и заколотилось под его дерзкой рукой.

– Пустите... пустите... О, Господи!.. За что такой срам?

Она вырвалась. Бежит вниз.

Он смотрит ей вслед, тяжело дыша.

И никто из этих четырех лиц, случайно встретившихся в полумраке кулис, не сознает, что сама судьба в этот вечер скрестила их пути.

Всенощная близится к концу. Хор запел *Слава в вышних Богу*. Церковь переполнена молящимися. Душно. Пахнет ладаном, смазанными сапогами, овчиной, потом.

Надежда Шубейкина молится, стоя на коленях в уголку, перед темным ликом Богоматери, озаренным копеечными свечами. По лицу Надежды бегут слезы. Она их не замечает. Глаза ее в экстазе устремлены на образ.

Неделю назад она пришла к Репиной и прочла ей заданную как пробный урок басню *Два голубя*... Прочла монолог из *Орлеанской девы*. Она знает его наизусть, и Репина изумилась ее памяти... Когда шла, думала, что охрипнет от страха, забудет слова, Ноги подкашивались... А начала читать, увлеклась. Страх исчез. Голос задрожал, но окреп... Сама не знала, что у нее такой голос. В первый раз читала громко. А когда кончила, Репина поцеловала ее в голову и сказала: «Учись, Надя!.. У тебя талант... Я сделаю из тебя актрису...»

Вся жизнь Надежды сейчас кажется ей дремучим лесом, в котором ей суждено было идти темной, узкой тропой. Но вдали сверкнул свет...

И она пойдет через лес к огню, что ее манит. Упорно будет искать свой путь. Пусть в клочьях будет ее одежда! Пусть кровью покроются израненные ноги!.. Она выйдет на свет из дремучего леса... Не в себя она верит, а в чудо.

Лицо ее так вдохновенно, так необычно в эту минуту, что даже ко всему равнодушные старухи-шептуны, приживалки в салопах с чужого плеча невольно оглядываются. А богатый купец Парамонов, первый человек в своем приходе, не спускает глаз с Надежды. Щеки его под седой бородой начинают гореть.

Всенощная кончилась.

Надежда выходит последней, положив земные поклоны перед иконостасом. Она низко надвигает на брови темный платочек. Крепче кутается в шаль. Ее коротенькая кофта на заячьем меху так плохо греет... Она спешит домой.

– Красавица... А, красавица... постойте-ка! – вдруг слышит она вдогонку сиплый голос. Она останавливается, удивленная.

Путаясь в полах медвежьей шубы и задыхаясь от бега, ее нагоняет Парамонов.

Надежда знает его. Все лавки в их квартале принадлежат ему. У него толстая жена, которая в церкви стоит на первом месте, взрослые дети, дочь-невеста.

Раза два он ласково заговаривал на улице и в лавке с Надеждой. Предлагал даже кредит открыть. Но девушка благодарила и отказывалась.

– Куда вы так бежите, красавица?... Вас не догонишь...

Надежда кланяется и стоит перед ним, не поднимая ресниц.

– Как здоровье дедушки? Не видать его в церкви.

– Опять хворает. Кашель одолел...

Парамонов сладко смеется.

– А сапожки моему Пете он хорошо сшил... хорошо... Я ему двугривенный накинуть готов. Вы загляните ко мне в контору...

– Покорно благодарю... только некогда мне, Сила Матве-

ич, – звучит сухой ответ. – Работы много. Я Васеньку дошлю...

– Ох, красавица!.. Что мне ваш Васенька?.. Вот я бы вам хороший заказец передал бы... Воздухи хочет моя Анна Пафнутьевна в церкву пожертвовать. Так вот-с золотом вышить по бархату... Зайдете?

– Заказов много... Не скоро приготовлю...

– Та-ак... та-ак... не скоро... Ух, гордячка!

Он пробует поймать ее руку под шалью. Но ее тонкие брови гневно сдвигаются. И богатый купец робеет.

– Ну... а о чем вы плакали нонче?.. О чем молиться изволили?

Она поднимает на него строгие глаза.

– Этого вам не скажу...

Парамонова в дрожь кидает. Он хватает руку Надежды и прижимает ее к своей жирной груди.

– Что за глаза, Бож-же ты мой! Кабы ты, девушка, захотела... жизни не пожалел бы... озолотил бы тебя, – шепчет он, задыхаясь.

Она вырывает руку.

– Стыдитесь! Женатый человек... У вас дочь невеста...

– Хе!.. хе!.. Сердитая... Что ж из того, что дочь невеста? Сердце-то мое еще не угомонилось... То есть, до чего ты меня пленила, Надежда Васильевна...

Она бежит без оглядки.

После морозного воздуха еще душнее в их квартире. Это подвал старого барского дома, который дедушка снимает у богатой барыни, живущей лето и зиму в имении. Первая каморка – кухня с русской печью. Во второй – мастерская сапожника. Здесь же спят дедушка и Васенька. Замерзшие окна подвала – вровень с землей. Глухо кашляет дедушка, лежа на нарах и прикрывшись овчинным полушубком. Васенька, водя пальцем по книге, читает вслух Евангелие. Сальная свеча нагорела. Пахнет кожей, овчиной, кислой капустой, бедностью...

Боже, Боже!.. Как далек еще от нее тот день, когда она выведет их всех из этой ямы на солнце, на воздух! Но этот день придет. Она это знает. В этом смысл всей жизни.

Мастерская в два окна служит и столовой. В третьей, совсем крошечной каморке живет Надежда с сестренкой Настей.

Она рано встает, чтобы при свечах вышивать по тюлю. Золотом вышивать можно только днем, а то грозит слепота. Но солнце зимой светит здесь всего каких-нибудь два часа... Утром, пока темно, Надежда идет на рынок, готовит обед, стирает, убирает комнаты. А когда ползут сумерки, она несет работу в купеческие и господские дома. Если спешный заказ, она до полуночи, при двух сальных свечах, вышивает шелками цветы по тюлю для бального шарфа... И незаметно среди этих трудов, забот и лишений уходит ее молодость.

Мать ее умерла от чахотки, когда Надежда была еще де-

вочкой. Отец-сапожник «сгорел от вина»... Дети остались на руках бабушки. И Надя, с семи лет учившаяся шитью и вышиванию золотом, с двенадцати лет уже кормит семью.

Недавно она получила совершенно случайно место в театре. Днем она приходит на примерку, шьет и переделывает костюмы. День проходит в беспросветном труде из-за куска хлеба, без знакомых, без подруг и развлечений.

Но наступает вечер, и начинается сказка. Загораются огни рамп. Сверкает на костюмах мишура галунов, и стразы кажутся алмазами. Бритые лица актеров становятся прекрасными и значительными. Как важны их жесты! Как торжественно звучат голоса! И слова-то какие новые!.. Так не говорят ни в золотошвейной, ни в сапожном заведении. Даже за кулисами таких речей не слышно.

Вот выходит из уборной прекрасная графиня с неземным взглядом. Через мгновение на сцене звучит ее нежный голос. Надежда слушает, и сердце ее стучит. Неужели это та самая пожилая уже актриса, которая с перекошенным от злобы лицом кричала на нее нынче на примерке за то, что она обузила ей костюм?

– Счастье твое, что ты не крепостная, – визжала она, – а то избивала бы я тебя своими руками...

Да, да... это, конечно, она. Но Боже мой! Какое колдовство преобразило это обыденное лицо? Какая сила зажгла нежностью этот крикливый голос?

И проносится перед очами бедной золотошвейки краси-

вая, чуждая, неведомая жизнь, где не думают о заказах, о сапогах, о долге в лавочку, об унижениях нужды... Вся сверкая, вся звеня и трепеща повышенными чувствами, несется перед нею в пестром калейдоскопе эта волшебная жизнь, рожденная огнями рампы... Что до того, что она погаснет и смолкнет, когда погаснут эти огни?.. Эти образы будут жить в ее душе. Эти слова будут жечь ее сердце. И сладкие слезы обольют ее подушку в бессонную ночь... А когда она заснет, наконец, величавые сны встанут вокруг ее изголовья и заслонят собою бедные стены подвала, ее убогую жизнь, ее темное будущее.

Дедушка высок и худ, с впалой грудью и сторбленными плечами, на которых сидит уже восьмой десяток. Лицо у него сухое, изможденное. Бороденка седая клинушком. И когда он говорит или безмолвно жует губами, словно шепчет, эта бороденка двигается и вздрагивает. Глаза дедушки еще зорки, строги и в то же время удивительно кротки.

Он ходит всегда в меховом халатике и валенках. Когда-то он был сапожником, но из-за слабой груди и кашля доктор запретил ему сидячую жизнь в душном подвале. И дедушка стал торговать горячим сбитнем на Толкучке. Жестокие были тогда морозы. Он простудил себе ноги, надолго слег и чуть не умер. Наде было тогда шесть лет. Она целыми днями сидела около дедушки, а он рассказывал ей чудесные сказки. И тогда выросла между ними та любовь, которую оба они

берегут теперь, как высочайшее благо в их тусклой жизни. Эта любовь помогла Наде перенести все ужасы нужды, побои чахоточной матери, побои пьяного отца, а старику – смерть невестки и преждевременную, бессмысленную кончину пьяницы-сына.

Васеньке уже десять лет. Это хилый, бледный мальчик, но прилежный и с характером. Он учится ремеслу деда, а по вечерам читает ему Четьи-Минеи. Дедушка сам и его и Надежду обучил грамоте.

– Поди, погуляй, Васенька, – тревожно говорит Надежда, глядя бледную щечку. – Подыши-ка ты свежим воздухом! Вон дети в бабки играют на дворе...

Вася покорно кладет инструмент и выходит на узкий двор. Заложив руки в карманы, глядит он на волнующихся, голосящих мальчишек. Но бесцветные глаза его не загораются. И взгляд их точно пуст. Твердо сжаты бледные губы. Странная горечь неуловимо залегла в уголке детского рта. И когда Надежда ловит этот взгляд, сердце ее сжимается.

– Если не умрет к двадцати годам, человек из него выйдет, – говорит ей дедушка.

– О, Господи!... – в ужасе крестясь, шепчет Надежда.

А иногда она горько плачет, вспоминая свою рано угасшую несчастную мать.

Насте всего семь лет. Это пухлая, пассивная и неумная девочка. Сестра учит ее вышивать, но Настя ленива. Все стоит за воротами да, ковыряя в носу, с полуоткрытым ртом гля-

дит на ворон. Она осталась в пеленках на попечении старшей сестры, и та в ней души не чает.

Что за радость под праздник сесть всей семьей за стол, вокруг шумящего самовара! Чай для них роскошь, и пьют они его раз в неделю, с тех пор как Надежда получила место в театре.

– Кого видела в церкви? – спрашивает дедушка. Он, крих-тя, поднялся с нар и, перекрестившись, подсел к самовару.

Надежда вспоминает Парамонова и хмурится. Но придется идти за заказом. К празднику нужны деньги, а дедушка болен второй месяц. Хорошо бы лекаря позвать...

– Замуж выходи, – говорит ей дедушка, видя, что она украдкой смахивает слезу. – И меня успокоила бы, и детей в люди вывела бы...

– Ох, дедушка!.. Не говорите мне об этом!

– А почему не говорить?.. Не плохое советую. Годы твои уходят. А мне в могилу пора...

– Дедушка, славненький... Душу вы мне надрываете...

– От слова не станется, Надя... Но ты сама девушка толковая, понимать должна. Умру я – ты одна, как перст, останешься, да еще с детьми... А кругом зло, разврат, соблазн...

Она молча, опустив ресницы, тянет с блюдечка чай.

Как ей сказать дедушке о своих мечтах?.. Не поймет, осудит, разгневается. Для него театр – вертеп. Актрисы – пропавшие. Актеры – лодыри. Чего стоило вырвать согласие даже на это место!

– Ко мне опять Петр Степаныч тетку засылал... Без всего тебя берет... А у него место верное. На водку к празднику до десяти рублей от гостей получает. Опять-таки человек он солидный, непьющий...

– Старый он, дедушка! – с отчаяньем срывается у Надежды.

– Вот так старый!.. В сорок пять лет...

– Я еще найду свою судьбу, дедушка... По любви выйду... Быть женой швейцара... Век в подвале прожить, как и здесь, солнца не видя...

Дедушка жует губами, и бороденка его двигается.

– То-то много любви ты увидишь в вертепе своем... Чтоб тебя оттуда вырвать, кажется, с первым встречным тебя окрутил бы...

Надежда вспоминает актера Садовникова. И даже уши ее краснеют.

– Не бойтесь за меня, дедушка! Не такая я, чтобы пропасть ни за что...

– Ох, Надежда!.. Враг горами качает... Не бери на себя много! Хитер наш брат...

– Ах, дедушка, никому я не верю!.. Всех насквозь вижу, – с страстной горечью срывается у нее.

– То-то... «вижу»... А когда честь честью замуж просят, не ценишь ты таких людей. Скольким ты отказала за эти два года?.. Лавочнику – раз... Рассыльному из театра – два... А теперь и этого упустишь?.. Смотри, Надя!.. Не пожалеть бы

ПОТОМ...

Дедушка большой пессимист. Долго еще журчит его речь. Внучка навряд ли слышит ее. Она упорно молчит. Брови ее сдвинуты. Репина пришла бы в восторг, увидев сейчас это лицо.

Когда все засыпают в подвале, Надежда тихонько сползает с кровати, на которой она спит рядом с Настей. Осторожно зажигает она свечу и берет книгу. Надо выучить новый стих, что задала ей Репина. Это «Чернец», поэма Козлова!

Надежда читает и плачет от восторга. Она не видит стен подвала. Распахнулись перед нею золотые врата вымысла.

Через год.

У Репиной гости. Собрались друзья, враги и поклонники. В столовой, за самоваром, сидит красивая, стройная барышня, в модном платье и модной прическе. Вдоль смуглого лица висят черные букли. Коса заложена высоко на маковке и прикреплена роговым гребнем. Худенькие плечи и руки полуоткрыты. Лиф с длинной талией кончается острым мысом, а на широкой сборчатой юбке – три больших волана. Грациозно и беззвучно двигаясь, она разливает чай в китайские чашки.

– Красавица, нельзя ли стаканчик? – говорит, подходя, актер Садовников. И взгляд его ласкает эти худенькие плечи, смуглую шею, завитки черных волос, всю эту экзотическую

головку с удлиненными, таинственными глазами.

– Пейте из чашки, – говорит ему Репина через стол. – Не видите разве, какой фарфор? В бенефис вчера поднесли.

– Что мне ваш фарфор, хозяйюшка, дорогая! Забудусь, в руке хряснет... Пусть мне Наденька лучше стаканчик даст!

– Не Наденька она вам, а Надежда Васильевна... как и я...

– Да будто?! Не сердись на меня, деточка? – мягко спрашивает актер, наклоняясь над смуглыми плечами.

И у Наденьки невольно дрожит рука. Так и тянет ее взглянуть в эти странные, широко расставленные глаза.

Но она не поднимает черных ресниц.

Садовников некрасив, но высок, статен. Лицо у него умное и значительное. И обворожительна улыбка его тонко очерченного рта. Он выдвинулся за эти два года. Играл роли Живокини, когда тот брал отпуск. И в эти роли, никому не подражая, умел внести что-то свое... О нем много говорят.

Все здесь, от мала до велика, кровные враги Наденьки. Она это знает. Враги потому, что не задумаются соблазнить ее и бросить и закрыть для нее волшебный мир, на пороге которого она уже стоит, вся трепеща от ужаса и восторга... Но всех страшнее для нее этот сильный, статный брюнет с его ласковой речью и обаятельным смехом. И Наденька его упорно избегает, особенно когда он является навеселе. Он преследует ее тогда, ловя то в передней, то в буфетной. Он целует ее смуглый затылок, и бессознательная дрожь желанья бежит по ее телу... И хотела бы разыграть оскорбленную,

да нет сил. И она прячется от него. А иногда плачет.

— Что это вы, Глеб Михайлович, исцарапанный весь? Или подрались с кем? — едко спрашивает Репина мрачного актера.

— Да вот все Наденька ваша... Просил пустяка, кажется... поцеловать... а она... видите?..

Репина зло хохочет.

— Нет уж, Глеб Михайлович, вы мою Наденьку не троньте...

— Кто ее тронет? Она у вас прямо дикая... Точно пантера... Не приручишь...

— И прекрасно делает, что не приручается. Она даже для вас слишком дорогая игрушка... Вот погодите, как она станет актрисой, сами будете у ее ног... Вы и не подозреваете, какая это сила...

Садовников недоверчиво улыбается. Он давно разгадал тайну увлечения Репиной этой «московской испаночкой»... Годы идут. Больно уступить свое амплуа молодым и злым соперницам. Хочется всех ошельмовать, подарить театру свою креатуру... Старая история. Бабы сказки... Если и дадут Наденьке дебют, все равно не примут. А и примут, так затрут. У директора своя protégée, у вицедиректора и режиссера тоже свои любимицы...

С двенадцати лет Наденьке уже отбою не было от бар, купцов, лакеев, приказчиков. Всякий норовил ущипнуть хорошенькую, стройную девочку, сказать ей сальность, прижать

ее где-нибудь в темном углу, бесцеремонно облапить... И в театре ей проходу не давали как актеры, так и служащие. И даже рабочие, ставившие декорации, заигрывали с нею.

И тут, в доме Репиной, от ее поклонников, надменных бар, часто слышит она двусмысленные предложения. Но этот ранний жизненный опыт бедной рабочей девушки помогает ей трезво глядеть на соблазны и среда всех искушений сбересть нетронутыми не только тело, но и душу. Грязь не коснулась даже ее воображения. Любовь она понимает только в браке. Она религиозна, и обряды имеют для нее великое значение. Но этой любви она ждет. Она не может отдаться не любя...

А в мечтах она уже любит. Может быть, Мочалова с его орлиными глазами, с его бледным лбом гения и маленькими, нежными руками. А, вернее, тех, кого он изображает: гордого *Фердинанда*, печального *Гамлета*, беспутного *Кина*, несчастного *Нино* из трагедии Уголино Полевого, пленительного *Мейнау* (любимая роль Мочалова) из пьесы Коцебу *Ненависть к людям и раскаяние*... людей, словом, каких нет кругом. Она никогда не говорит с ним. Даже боится попасться ему на глаза. Часто, после их первой встречи, она видела, спрятавшись за кулисами, как он озирался... Это он ее искал... Сердце ее, как пойманная птица, трепыхалось в груди. Но ни за какие блага в мире она не покинула бы своей засады!.. Почему? Бог весть... Не боялась ли она, что побледнеет в ее памяти тот светлый, единственный миг, внезапно

сблизивший их души?.. Так много грязи кругом... Так много травли... И если б он оказался таким, как все... как этот Садовников... Нет! Нет!.. Она не хочет и думать об этом...

Но что такое жажда любви, это она знает прекрасно, несмотря на свое целомудрие. В ее годы замужние подруги ее уже двух, трех детей имеют... Эта жажда любви налетает на нее внезапно, порывами, как хищная птица. Она навевает тяжкие грешные сны, после которых просыпаешься смущенная, разбитая, с больно бьющимся сердцем.

Во сне она нередко видит Садовникова. Его глаза и улыбка манят ее. Он протягивает к ней руки. И покорно идет она к нему навстречу. На гибель. На грех.

Но странно... У Садовникова в этих снах всегда почти другое лицо, другая фигура. Он похож на Владиславлева, молодого актера на вторые роли. Никогда он не сказал двух слов с Наденькой, приезжая на поклон к Репиной. Да и она никогда о нем не думает... Только снится он ей в образе *Фердинанда* или *Гамлета*: тонкий, стройный, белокурый, с женственно-нежным лицом, маленькими руками и мягким голосом.

Ах, все это бесовское наваждение! И после таких снов, бесшумно сползая на пол, чтобы не разбудить маленькую Настю, она горячо молится пред образом любимого угодника. Она просит дать покой ее душе и телу, отогнать образы мнящего греха.

Через полгода в Харькове.

– Вас там какая-то барышня спрашивает, – говорит за кулисами помощник режиссера антрепренеру городского театра.

– Кто такая? Некогда мне!.. Скажи, занят...

– Говорит, письмо у нее к вам из Москвы.

Антрепренер, вытаращив глаза, снимает очки, протирает их красным клетчатым платком и опять надевает.

– Из Москвы?.. Вот оказия!.. А молодая?

– Бутон-с...

– Хе!.. Хе!.. Красивая?

Помощник весело фыркает.

– Глаза, как звери, Ардальон Николаич... Ротик цветок. На всякого потрафит.

– Ну... ну... Расписал-то как! Подумаешь, Марлинский... Зови в кабинет!

Дверь Маленькой комнаты отворяется, и входит молодая женщина. Пестрая в клетку широкая тальма с длинной пелериной не скрывает грации этой фигуры. Она среднего роста, но кажется высокой. Из модной шляпы-кибитки с высокой тульей и широкими лентами, завязанными под подбородком в пышный бант, глядят удлинненные темные глаза. Лицо матовое, неправильное, но необыкновенно выразительное. Сейчас оно полно грусти. Смушение придает ему неотразимую прелесть женственности.

Крякнув от удовольствия, антрепренер взбивает седые кудри. С низким поклоном он подвигает посетительнице единственное в комнате ободранное кресло.

– Что прикажете?

– Вот письмо от артистки Репиной.

– От кого?? – переспрашивает антрепренер и берет толстый конверт.

В письме знаменитая артистка рекомендует ему свою ученицу, Надежду Васильевну Неронову, и просит дать ей дебют.

– Это вы... Неронова?

– Я...

– Что она такое тут пишет? Вы в Театральной школе кончили?

– Нет... Я нигде не кончила. Я училась у самой Репиной. Все роли с нею прошла...

Антрепренер с отвисшей нижней губой глядит то на письмо, то на просительницу. Потом треплет себя за волосы.

– Тэ-экс... Дебют-то мы вам дадим, ангел мой... Как отказать Репиной? Нельзя отказать... Только труппа-то у меня уже набрана в полном составе. Почему вы так поздно?

– Дедушка был болен. Я не могла его оставить.

– Вот видите, дедушка помешал... А на дворе сентябрь. Разгар сезона... А вы что же? В водевиле хотите себя попробовать? Голос у вас есть?

– Нет... я... я... у меня... трагический репертуар... Для

первого дебюта хотела бы сыграть *Офелию* из трагедии *Гамлет*...

Артист отодвигается со стулом, который трещит под его тяжестью. Вопросы так и дрожат на его толстых губах комика. Но он тактично сдерживается...

– Что ж, ангел мой!.. Валяйте *Офелию*... А на второй дебют что прикажете?

– *Дездемону* из трагедии *Отелло*. А на третий – *Луизу Миллер* из драмы Шиллера *Коварство и любовь*, – доканчивает Неронова, мучительно краснея от насмешливой улыбки толстяка.

– Тэ-экс... Стало быть, трагический репертуар?.. А мы им, по правде сказать, не баловались тут. С прошлого года, как провалились с *Гамлетом*, не тревожили Шекспира в его гробу... Уж это на вашей совести грех будет, сударыня... Что делать! – с комической важностью он низко кланяется. – Отпишите вашей покровительнице... Как звать вас прикажете?..

– Надежда Васильевна...

– Так вот-с, Надежда Васильевна, отпишите вашей покровительнице, что желание ее я исполню...

– О, как я вам благодарна!

– Хотя на первые роли у меня уже есть артистка... Любимица публики. И тягаться с нею вам будет трудновато...

Черные ресницы опускаются.

– Что Бог даст... Окажусь слабой, дайте мне самое ма-

ленькое место... хоть горничных играть! У меня на плечах семья... Я буду вам так благодарна...

Она встает, застенчивая и неприступная в то же время. Опытный актер это чувствует.

– Увидим, увидим... Надо дней десять на репетиции... Декорации обмозговать... костюмы... все такое. Гамлет у вас будет за первый сорт. Сын мой... В Киеве прошлый год играл Шекспира... А мы тут больше водевилями пробавляемся. Любит наша публика водевили с переодеванием... Завтра выпустим анонс... Вы где изволили остановиться?.. У купца Хромова, на постоялом дворе? Знаю... знаю... это на краю города... Далеконько... Ну-с, до свиданья!.. Завтра, в десять, пожалуйста на считовку...¹

...За кулисами буря. Премьерша Раевская, которой уже под сорок, рвет и мечет. Она живет с премьером Лирским, сыном антрепренера. Ее все боятся. Как смели дать дебют?

– Ни к чему не обязывает, ангел мой, – утешает ее антрепренер. – Вот увидите, осрамится... Шутка ли? Трагический репертуар избрала. А у самой ни опыта, ни школы... Пусть срежется, и поделом! Дадим ей рольки – лампы выносить...

На столбах появились огромные афиши, возвещающие о дебюте Нероновой, ученицы знаменитой Репиной. Обыватели останавливаются. Студенты жарко спорят. Все заинтере-

¹ Теперь говорят считка. В воспоминаниях Максимова, актера сороковых годов, он всюду пишет считовка. – *Примеч. автора.*

сованы. По городу идет гул... Театр любят. В придавленной, серой жизни – это золотая сказка, к которой рвется душа.

На репетиции Надежда Васильевна сразу чувствует себя во враждебном лагере. Она робеет, замечая насмешливые взгляды разряженных артисток. На ней прелестное шелковистое двуличневое платье с плеча ее благодетельницы... Она сама переделала его по последней моде. Золотые ручки Надежды Васильевны связали кружевной воротник... Ее голова очень красива в модной прическе. Посредине белеет дорожка пробора. Черные бандо обрамляют виски, а вдоль щек висят черные букли. Мужчины с интересом следят за ее выразительным лицом, но боятся вслух сказать, что эта женщина обаятельна.

Вся труппа собралась взглянуть на дебютантку. Критикууют вслух, не стесняясь, каждый ее шаг. Господи!.. Кто ж так держится на сцене? Она ходит, как у себя дома. Где ее жесты? Кто говорит так просто?.. Актрисы смеются. Актеры пожимают плечами... Антрепренер буффонит. Премьер Лирский надменно указывает ей на промахи. Она не знает выходов, она путает места... Что она говорит?.. Так играет Мочалов? Так учила Репина?.. Ах, Боже мой! Что нам Мочалов? Каждый трагик играет по-своему.

Но опытный глаз режиссера ловит богатую мимику дебютантки, сдержанные, но полные темперамента жесты. Опытное ухо его слышит внезапно прорывающиеся драматические нотки звучного, грудного голоса. И режиссер нервно

потирает руки... Он действительно ошеломлен. Простота и естественность дебютантки в трагедии кажутся ему новыми, странными... Она не декламирует. Она говорит, как в жизни... Пусть это дико здесь, в провинции, где еще не признан Гоголь с его реализмом; где царят драмы Полевого и Ободовского с их ходульными чувствами, с их неестественными положениями, со всей этой шумихой романтики; где актеры сохранили еще певучую дикцию, торжественные жесты и менуэтную походку ложно-классической французской школы... Но какое очарование в этой простоте!

– Безднадежна? – шепчет антрепренер, ловя его за кулисами.

– А вот увидим, – уклончиво отвечает он.

– Пожалуйте на примерку, – мягко говорит он Нероновой и ведет ее под руку.

Ее лицо пылает. Она слышит сзади смех женщин.

– Право, недурно... Не падайте духом, – ласково говорит ей режиссер.

Она поднимает на него печальные, полные благодарности глаза. И он потрясен их выражением.

Наконец одна... Бледная, болезненная женщина с подвязанной щекой подходит к ней, держа в руках классические и средневековые костюмы с чужого плеча. А... костюмерша! Надежде Васильевне сразу становится легче в обществе простого человека. Она с участием расспрашивает молодую женщину об ее житье... Маленькие дети, больной муж...

нужда... Да... да... знакомые картины... Собственное прошлое встает перед ней... Не была ли она тогда счастливее? У нее была слава художницы-золотошвейки, и руки ее кормили всю семью. А что даст будущее?.. Ей жутко.

Убогий номерок в одно окно. На ободранных обоях видны следы раздавленных клопов. Из-за дощатой стены несется могучий храп соседа. Внизу трактир. Слышны нестройные звуки балалайки, пьяные песни, хриплая ругань, взрывы смеха.

Надежда Васильевна зажигает сальную свечу в позеленевшем шандале и бережно прячет коробку серных спичек в ящик комода. Перед кривым треснувшим зеркалом она снимает свою шляпу с высокой тульей. Раздевается... Аккуратно вешает на гвоздь свое единственное парадное платье и надевает холстинковый капот.

В углу стоит небольшой сундучок, обитый размалеванной жестью. В нем три смены белья, два ночных чепца и два колленкоровых платья. Это самая модная материя, тоненькая и блестящая, как шелк... Для Надежды Васильевны это целое богатство. Эти платья тоже в куске подарила ей Репина, как и веер, как и широкий шелковый кушак с бахромой на концах. Газовый шарф, затканый цветами, она вышила себе сама. Все эти вещи необходимо иметь артистке.

Но салопа у Надежды Васильевны нет. Репина подарила ей свой весною, красивый, атласный, вишневого цвета, на кушем меху. Уезжая из Москвы, Надежда Васильевна снесла

его в ломбард и деньги отдала дедушке... Когда она нынче выходила из театра, вздрагивая от свежего ветра, артистки зло улыбались, кивая на ее драповую, уже немодную тальму. Но Надежда Васильевна выше этих пересудов. Лишь бы не простудиться!

Сальная свеча нагорела, трещит и чадит. Надежда Васильевна снимает нагар. Коридорный принес ей горячего сбитню и сайку. Это весь ее обед и ужин.

Она берется за роль. Как она нынче слабо читала! Она не взяла, кажется, ни одного верного тона... Но ее так неприятно поразила ходульная игра и напыщенная читка Лирского. Он кричит, завывает. У него нет ни одного живого слова... Он все время сбивал ее с тона... Это после Мочалова?... После этой искренности и простоты?..

Вздыхнув, она раскрывает свою тетрадку. И опять воспоминания уносят ее далеко. Она видит перед собой *Офелию*-Орлову, – чопорную, но бесстрастную, безличную девушку, которой все помыкают. Она теряет рассудок, потому что Гамлет убил ее отца... Надежда Васильевна хмуро улыбается. Этот образ ничего не говорит ей. С ее темпераментом, с ее энергией, с ее самостоятельностью – она просто не верит в таких девушек... С ума не сходят от смерти отца, от потери близких. Иначе мир превратился бы в кладбище. Но потерять любимого человека... Утратить надежду на счастье... Вот в чем ужас!.. Разве любовь не все для женщины? Не единственный смысл ее бытия? Не самая заветная, самая

сладкая греза?..

Приблизительно так думает Надежда Васильевна, уронив на колени руки с тетрадкой и глядя в темные окна. Она ищет в творчестве свой собственный, никем не проторенный путь. В драме Шекспира она инстинктивно ищет и находит себя.

Да, у Офелии были свои страсти, свои грезы. Ее счастье – Гамлет...

И снова, снова в сотый раз она вдумывается в эту роль.

Офелия невинна, но она не наивна. И были ли девушки той эпохи наивны и полны неведения? Жизнь была так проста, груба, так примитивна... Офелия отлично понимает двусмысленность всех непристойных острот, которые Гамлет говорит ей на спектакле. И когда Надежда Васильевна, стоя за кулисами, впервые услышала эту сцену, она помнит, как поразила ее эта чуткость Офелии ко всему чувственному... Но это так просто, в сущности... Это вполне «земная» девушка, с несложным, земным идеалом счастья. Все существо ее напряженно ждет этого счастья, бессознательно жаждет ласки Гамлета. И когда гибнут все возможности, гибнет и Офелия. Если бы она была бесстрастна, если бы она была безлична, она не могла бы так болезненно реагировать на удары судьбы...

Надежда Васильевна – самоучка и самородок – не может, конечно, *так* формулировать свои выводы. Но она так *чувствует* Офелию. Она знает, что в ее передаче это будет не шаблонный, а правдивый образ с кровью и плотью.

Ах, если бы кто-нибудь слышал ее теперь!.. Если б завтра ей найти эти интонации!

Она увлекается невольно. Все сильнее и свободнее звучит ее голос...

Стук в дверь.

– Что такое? – замирающим шепотом спрашивает она, словно падая с высоты.

Всклобоченная голова коридорного просунулась в щель и удивленно озирается.

– Потихе просят... Господа обижаются. Помещица из второго номера больные лежат. Шуметь не полагается после девяти.

Как? Уже девять? Она смотрит в окно. На дворе непроглядная темь. Улица озаряется только светом, падающим из окон трактира. Фонарей нет в этой глуши.

Надо спать, спать, спать... Она совсем еще не отдохнула с дороги. Она ехала сюда две недели, то на постоянных дворах выжидая попутчиков, то трясясь по грязи в еврейских балагулах.

Она заплетает на ночь смоченные водой букли около висков в мелкие косички. Надевает ночной чепец и становится похожей на девочку. Но встревоженная мысль опять гонит сон...

Сцена безумия... Самая трудная в роли Офелии... Нынче она ее читала деревянным голосом. Но это неважно... Эта сцена ей так понятна...

Когда Надежда Васильевна в первый раз из-за кулисы увидела Орлову в роли безумной Офелии, она почувствовала глубокое разочарование. Она сразу почувствовала: это не жизнь, это ходули, ложь... Орлова никогда не видала сумасшедших...

Но Надежда Васильевна видела в детстве одну «дурочку». Это была дочь булочника, соблазненная и брошенная каким-то солдатом. Она родила мертвую девочку и помешалась. Боже, какое это было жалкое создание!.. Надежда Васильевна помнит ее уже поседевшей, беззубой, почти старухой в тридцать лет. Она была всегда тихой, кроткой... И все дразнили ее. И все над ней смеялись. Ей клали на колени обернутое в тряпки полено. И несчастная нянчила его, прижимая к груди, и обливала слезами. Когда у нее отнимали полено, она приходила в ярость. Зимой и летом она ходила босиком, еле прикрытая лохмотьями. Ею пугали детей, но десятилетняя Надя не боялась ее. Она всегда давала ей горячего сбитня, хлеба, грела ее у печки, в отсутствие матери, и со странной тревогой прислушивалась к ее бессвязной речи. Ни начала, ни конца не было в этих речах, как в спутанном клубке. Иногда дурочка плакала горько, жалобно, словно вспоминая что-то... Надя тоже плакала, обняв седую голову... Она искала слов, чтоб ее утешить. Но настроение безумной уже менялось. Больная мысль делала какой-то дикий зигзаг, и бессмысленный смех дрожал на бледных губах. «Святая душа...» – думала Надя.

Но иногда демоны овладевали кратким созданием. «Дурочка» становилась бесстыдной и буйной. С непристойными жестами она обнажалась и предлагалась каждому, вызывая грубый хохот взрослых и травлю мальчишек. Взбешенный отец-булочник тащил ее в дом и сажал, как собаку, на цепь. А она драла ему лицо, кусалась, плевала всем в глаза и выкрикивала площадные ругательства.

Наде было четырнадцать лет, когда «дурочка» умерла. Стояли сильные морозы – выше сорока градусов. Птица мерзла на лету. Под Крещение холод спал, но началась вьюга. «Дурочка» пошла на богомолье. Так объяснял отец ее постоянные исчезновения... Ее нашли где-то за Симоновым монастырем замерзшую, посиневшую. Много плакала о ней Надя. Долго не могла ее забыть...

Когда она вчитывалась в роль Офелии, ее поразила бессвязность этого бреда, дикие скачки воспоминаний, неожиданные переходы от одного настроения к другому... И эта красная нить эротических мечтаний, эта навязчивая идея, которая сверкает среди спутанного клубка мыслей... О, как знакома ей эта картина! Бедная, необразованная девушка, наблюдавшая жизнь не из книг, лучше многих развитых людей могла оценить гениальность Шекспира. Образ несчастной «дурочки», как живой, стоял перед нею, когда она учила Офелию с Репиной...

– Не то... не то... Что ты делаешь?.. Разве так можно? – говорила ей актриса, не дерзавшая отойти от традиции. – Что

это за угловатые жесты? Ты забываешь, что Офелия родилась во дворце?

И Надежда Васильевна безропотно подчинялась. Но ведь она понимала, что в безумии, как и в смерти, все люди равны... и что несчастье срывает с души человека все уборы, всю мишуру и прикрасы, как злой ветер поздней осенью оголяет лес. И стоит человек перед Богом, нагой и смиренный, презрев суету жизни пред лицом Вечности.

«Я так именно и буду играть Офелию», – говорит она себе.

Дрожь пробегает по худым смуглым плечам. Как сыро в комнате!.. Надежда Васильевна опускается на колени. В изголовье висит маленький образок в серебряной оправе. Дедушка благословил ее им на новую жизнь.

Подняв сложенные руки, она страстно молится, и слезы бегут по ее щекам... Она одна. Одна в чужом, враждебном городе, который ей надо покорить во что бы то ни стало. Какой страшный шаг!.. Какой трудный путь!.. Одолеет ли она его, одинокая, без друзей и покровителей, окруженная интригами, завистью и предубеждением?.. Случай и каприз прекрасной женщины выхватили ее каким-то чудом из темной, безвестной ямы, указали ей путь в гору и сказали: «Иди!..»

И она идет. Она уже не может остановиться. Сама судьба обрекла ее на эту жизнь, полную борьбы и страданий, не понятных толпе... Но хватит ли у нее силы достигнуть вершины?

Одно она знает ясно: нет дороги назад!

Она вспоминает, как она была маленькой, и дедушка по вечерам сажал ее к себе на колени и рассказывал сказки. Она воображала себя лягушкой-царевной, Аленушкой, спасавшей братца, или царевной со звездой во лбу, которую несет на себе серый волк... Сердце билось. Алели щеки. Горели темные глаза... И ночью она кричала или плакала, пугая больную мать. Слушая деда, она забывала о побоях отца, об обидах и драках ее уличных подруг...

Сцена для нее теперь та же сказка. В искусстве вся ее жизнь. Это кумир ее, для которого все жертвы легки. И что бы ни ждало ее впереди: унижения, зависть, обиды, насмешки, неудачи, – она вынесет все. Она останется здесь, на подмостках, хотя бы простой статисткой. Но не покинет этого волшебного мира вымысла, где портнихи становятся королевами; где одинокие и робкие царят и повелевают; где скромные и целомудренные произносят слова страсти; где рыцари бьются за своих дам; где все живут приподнятыми, яркими чувствами, забывая о тусклой жизни, о голоде, нужде, об одиночестве, о горьких слезах обиды...

Надежда Васильевна через сорок лет помнила малейшие подробности вечера, решившего ее судьбу.

Вот стоит она за кулисами, вся дрожа мелкой дрожью и не замечая красующегося перед ней Лаэрта. Сейчас ее выход. Кровь так бурно стучит в виски... Что он ей говорит?.. Она

не слышит... И суфлера не услышит... А слова роли забылись... «Господи!.. Господи!..» – шепчет она, крестясь.

Вдруг она видит вытаращенные глаза помощника режиссера. «Выходите же! Вам...» – поняла она, наконец...

Зажмурившись, она переступает порог. Свет ramпы ударяет ей в глаза. Издали доносится чей-то огромный, жаркий вздох. Она слышит голос Лаэрта:

Прощай, сестра!.. Попутный веет ветер...

И мгновенно свершается чудо в ее душе. Чудо перевоплощения, непостижимое для толпы, знакомое только артистам.

Она уже не Надя Шубейкина, бедная московская мешаночка, которая кинула вызов жизни, не желая мириться со своей темной долей. Она дочь царедворца и родилась во дворце, здесь в Дании, под хмурым небом. Она выросла под дикие песни Северного моря.

Вот стоит она перед братом, такая хрупкая и невинная, каким-то чудом сохранившаяся среди развращенного преступного двора. Но она уже не наивна... Более того: она бессознательно чувственна. Она вся в грезах о счастье. Она любит и любима. И длинные, темные глаза дебютантки полны неги.

Но Боже великий! Какие кощунственные речи говорит Лаэрт! Она не должна верить Гамлету и его любовным клятвам?

А о Гамлете и его любви

Забудь... Поверь, что это все мечта,
Игрушка детская, цветок весенний,
Который пропадет, как тень,
Не более...

«Не более?» – болезненно срывается у Офелии. Это скорбный, страстный крик души, протестующей против отказа от радости. Но она привыкла верить брату. Первое сомнение в любви Гамлета – это первый разлад, омрачивший девичью душу. На слова Лаэрта: «Прощай, Офелия, и помни мой ответ!...» – она отвечает разбитым звуком:

Я заперла его на сердце. Ключ
Возьми с собой...

Это не простая пассивность, которую изображала Орлова. Это глубокое отчаяние. Скорбно сдвигаются тонкие брови дебютантки. И на бледное лицо ее как бы впервые падает тень ее трагической судьбы.

Подходит Полоний, лживый, лицемерный, хитроумный царедворец. Но для любящей, покорной дочери – он образец добродетели и мудрости... Однако отец так же грубо, бесцеремонно врывается в тайники женской души. Ее поэтическая любовь, радостные встречи с Гамлетом, их беседы – все это обнажено внезапно, осмеяно, втоптанно в грязь. Ей надо бояться того, кем полны ее сны. Он хочет ее унижить, надругаться над ее чистотой... Нет любви. Есть только жадное же-

ление развратного принца. Устами отца говорит с нею сама жестокая, циничная Жизнь. Но душа кричит. Душа защищает гибнущую Мечту.

Он о любви мне говорил, но так
Был нежен, так почтителен и робок...

Полоний. Так что ж еще? Да как же говорить?
Поди ты, бестолковая девчонка!

С каким отчаянием срывается у нее в ответ:

Он клялся мне в любви своей...

Полоний. Вот на!..
Ну, Гамлет ловко ловит дичь!

.....

И коротко, да ясно: ничему не верь...
Знай: этот молодой народ – обманщик,
Прикинется таким, что будто чудо...
А в самом деле... Ты не понимаешь,
Но я тебе однажды навсегда
Ни говорить самой, ни слушать речи принца
Об этаких вещах не позволяю... Слышишь?
Прошу припомнить и не забывать!

Взгляд раненой насмерть лани кидает Офелия отцу. Губы ее беззвучно шепчут: «Всегда... повиноваться вам – мой

первый долг...»

Она уходит какой-то мертвой походкой, как внезапно ослепший человек... Почти у порога она оглядывается. Глаза молят о пощаде. Губы открылись. С них словно рвутся роковые вопросы: «Неужели нет любви? Неужели в мире царит один разврат? Одно обманчивое желание? И лгут мечты, сулящие счастье? И если так, то зачем жить?...»

Но ни одного слова не срывается с искажившихся уст Офелии. Как бы поняв свое бессилие перед Жизнью, она опускает голову и исчезает беззвучно.

Взрывы аплодисментов медленно гаснут. Значение этой сцены внезапно вырастает перед удивленным зрителем. Драма Офелии уже намечена. Кто из женщин рано или поздно не переживает этих минут?

Как во сне, Неронова выходит за кулисы и стоит там, закрыв глаза, не слыша, как шевельнулась и взволнованно зароптала толпа... все еще чувствуя себя Офелией.

– Браво... браво... для начала недурно! – говорит кто-то над ухом. И она видит удивленное лицо режиссера.

Роль Офелии невелика. В сущности, у нее только четыре сцены. Но тем труднее на этом коротком промежутке показать расцвет и гибель женской души, утратившей иллюзии.

Как вихрь, врывается она на сцену во втором действии.

Ах!.. Боже мой!.. Я вся дрожу от страха...

С бледным лицом, трепетным голосом она рассказывает отцу, как Гамлет вне себя вбежал в ее комнату.

Полоний. Рехнулся от любви к тебе.

Офелия. Не знаю... но, кажется, он помешался...

О, как любовно, как картинно передает она отцу все подробности этой встречи!.. И когда Полоний сокрушается, что Гамлет помешался от любви, она в отчаянии... Это ее холодность... нет, ее покорность отцу довела его до безумия... Полоний тревожно спешит к королю. А она стоит, уронив руки, недвижно глядя перед собой. Целый мир возможностей исчез для Офелии. Не для нее завтра встанет солнце... Тень судьбы упала на ее дорогу, и будущего нет... «Куда идти?.. Чего ждать?» – говорит ее трагическое лицо, ее широко раскрытый взор, где отразился весь ужас – не первого предчувствия, а уже ясного сознания неотвратимого конца.

В первом ряду партера, как всегда, сидят Муратов и князь Хованский. Муратов, местный помещик, богач, меценат и страстный театрал. Полжизни он провел в Париже, тратясь на женщин, пропадая в музеях и архивах, собирая коллекции редких гравюр... Студентом-юношей он видел уже располневшую, но еще эффектную Жорж. Но он не любил ее игры. Теперь он – поклонник Рашели.

Ему за пятьдесят лет. Его волосы седы, у него подагра и

одышка. Но грузная высокая фигура его очень представительна. Он с головы до ног большой барин. У него интересное лицо, очаровательная манера говорить, много юмора. А главное, он не хочет стариться. Он еще молод душой. Успех его у женщин до сих пор велик. Даже красивая Раевская не задумается бросить своего молодого любовника, если Муратов поманит ее пальцем. Но ей уже за тридцать, а его тянет к молодости. Он открыто живет со Струйской, хорошенькой водевильной актрисой, и она щеголяет тысячными мехами и бриллиантами. Он давно разъехался с женою. Она за границей с замужней дочерью. Сын служит в Петербурге.

Здесь, в театре, слово Муратова – закон. И не потому только, что он субсидирует прогорающих антрепренеров и охотно идет навстречу всем нуждающимся артистам, но еще и потому, что он знаток искусства. За кулисами он не только свой человек. Он там желанный гость... Никто лучше его не даст ценных указаний относительно декораций, костюмов, обстановки и нравов изображаемой среды... Его часто приглашают на репетиции, а на генеральных он – первое лицо.

Он только что вернулся из-за границы, и дебют Нероновой для него новость.

Блестящий гвардеец – князь Хованский – сын харьковской помещицы... После воспаления легкого доктора выслали его из Петербурга. Он взял отпуск на год. Здесь он скучает. Мать его, разорившаяся от безумного мотовства, подыскала ему в Петербурге богатую невесту. Свадьба состоится

будущей осенью. А пока он развлекается за кулисами. Он увлекся немножко Струйской. Но Муратов перешел ему дорогу. Хованский до сих пор не может ему этого простить.

– Как она вам нравится? – иронически спрашивает Хованский соседа.

– Она удивительна. Какая простота!

– Красивая женщина. Она, наверное, брюнетка... Но к ней идет белокурый парик. И какая ножка!.. Вы заметили?

Муратов скользит насмешливым взглядом по изящному, словно точеному лицу гвардейца. И все слова, в которые он хотел вложить то, чем полна в эту минуту его смятенная душа, замирают невысказанными. Произносить их здесь – значит профанировать... Давно-давно не переживал он таких минут.

В антракте они оба идут за кулисы. Князь шутит с актрисами, обступившими его. На расспросы их о дебютантке отмалчивается... «Она недурна... Этого отнять у нее нельзя...» Он что-то шепчет Струйской. Та играет глазами и задорно смеется. Как охотно отбил бы он у Муратова эту маленькую женщину!

– Ну что? – тревожно спрашивает антрепренер, ловя Муратова на пороге кабинета. – Что скажете?

– Скажу, что я... растроган, потрясен... И все-таки это не выразит того, что я чувствую...

– Вы шутите?

– Послушайте... Откуда вы достали этот клад? Ну да... ну

да... Неужели у вас нет чутья? Ведь это новая школа. Ведь это полное отрицание всяких шаблонов и традиций... Уверю вас, что это будущая знаменитость...

– Да н-ну?.. Вот так okazия!.. Александр Васильевич... Где он?.. Васька, позови сюда режиссера...

– Представьте меня, – просит Муратов.

Но антрепренер машет на него руками.

– Нет... нет... не возьмусь... Вы бы поглядели на нее... Она совсем полоумная... Дрожит, как в лихорадке, ничего не понимает... Даже глядеть больно... Уж лучше после спектакля...

В третьем действии, когда Офелия появляется в обществе королевы и отца, зрители не видят больше невинной, жаждавшей радости девушки. Ее глаза угасли. Движения утратили грацию и стремительность. Она ходит как лунатик, вся жуткая, словно под гипнозом гнетущей мысли.

У нее отняли не только веру в Гамлета. Отняли даже письма его, чтобы показать королеве. Все тайны ее чистой любви бесстыдно обнажены. Она ограблена.

Безучастно слушает она, как через нее хотят заманить в ловушку Гамлета.

Вдруг она выпрямляется. Лицо ее ожило. Сверкнули глаза... Чего хотят от нее эти люди? Узнать, безумен ли он? Безумен ли от любви к ней? О, да... Она сама хочет увериться в этом. Вся решимость пассивной натуры, доведенной до

отчаяния, вспыхивает в ней в этот миг. Все ее достоинство, все ее поруганные мечты толкают ее к протесту. Нет, она не безличная, не безвольная игрушка в руках короля! Она знает, на что идет... Пусть все кругом твердят, что Гамлет играл ею! Но сердце и сейчас отказывается верить. Из его уст она должна услышать, что была для него только забавой.

Гамлет выходит, полный сомнений, смятения, тоски... Пока он читает свой длинный монолог, Офелия, стоя в стороне, не спускает с него глаз. Как жгуч и пронзителен ее взгляд!.. Он как бы силится проникнуть в душу Гамлета. Это взгляд женщины, узнавшей страданье.

– Поразительно! – вслух говорит Муратов. Он, как и все, глядит на дебютантку, совсем забыв о Лирском...

Но вот Гамлет увидал ее...

Милая Офелия! О нимфа...

Помяни грехи мои в молитвах...

Медленно идет ему навстречу Офелия. Сколько горечи в ее голосе, когда она предлагает вернуть ему подарки, которые он ей дарил когда-то любя... Любовь ушла, и смысл вещей исчез.

Гамлет. Я любил тебя прежде...

«Я верила этому, принц...» – со страстной горечью отвечает она.

Гамлет. «Напрасно... Прошедшего нет более. Я не любил тебя».

Она пошатнулась, болезненно прижмурила веки...

«Я ошибалась...» – рыдает ее голос. Она уже не глядит в непроницаемые глаза Гамлета. В ее лице отразилась вся драма ее души.

Что он говорит? Она вдруг поднимает голову с расширенными, полными страха глазами... «Удались от людей, Офелия... Мы все бездельники... все... Никому не верь!..» О, Боже! Он безумец... Все кончено... И на настороженный вопрос Гамлета: «Где твой отец?..» – она отвечает как лунатик, проводя рукой по лицу, бессмысленно глядя в одну точку: «Дома, принц...» Но это не малодушная ложь, столь чуждая ее натуре. Это не измена любимому человеку. Это минутное забвение действительности под влиянием оглушившего ее удара. «Милосердный Боже, помоги ему!..» – срывается у нее вопль... Он оскорбляет ее... За что?.. Она не понимает. В своем ужасе она забыла о ловушке, расставленной Гамлету. На все его оскорбления она твердит одно: «Исцелите его, силы небесные!..»

Гамлет уходит, взбешенный коварством короля. Уходя, он кидает в лицо Офелии свое презрение... Потрясенная ужасом, она падает на колени. Все померкло. Все рухнуло. Он погиб. Да... погиб от любви. Она была слишком жестока к

нему, исполняя волю отца. Она сама виновата в его безумии... Вот что пронзает ее хрупкую душу и разрушает ее рассудок. С этого именно момента жизнь Офелии неуклонно катится вниз, как брошенный с горы камень. И, потрясая все сердца, на весь театр, зазвенел, зарыдал богатый, грудной голос дебютантки:

Погиб... погиб!.. И мне судьба велела,
Мне, пламенной любви его предмету,
Мне видеть обезумевшим его...
Что был он, и что стал... о Боже!..

Единодушные аплодисменты долго не смолкают и не дают заговорить королю. Но дебютантка не благодарит, не кланяется. Она точно не слышит рукоплесканий. Она безмолвно продолжает играть. Как статуя отчаяния, стиснув руки, трагически сдвинув брови и закрыв глаза, стоит Офелия, пока совещаются король и Полоний. И когда занавес падает, весь театр вызывает артистку. Еще, еще... еще... Это против всех традиций. За кулисами все поражены.

Она выходит испуганная, словно разбуженная внезапно, и в пояс кланяется, приложив руки к груди, этой толпе, которая ее чествует, в руках которой ее судьба. Она была бы счастлива, если б не боялась за последнюю трудную сцену безумия... Поймут ли ее?..

За кулисами режиссер опять ласково поздравляет ее... Как во сне, видит она чьи-то лица. Как во сне, уходит она в

уборную и падает на стул.

А толпа гудит, как улей. Имя дебютантки на всех устах. Поклонники Раевской страстно спорят, указывая на отсутствие школы. Сама Раевская пьет капли. С ней уже была истерика.

Полоний подслушивает объяснение Гамлета с матерью, Гамлет, думая, что это король, пронзает Полония шпагой через занавес... «Как мышь...» Офелия сходит с ума.

Но смерть отца – лишь последняя капля в чаше, полной до краев. Душа Офелии задолго перед тем уже стояла на пороге безумия. Девушка, созревшая для любви и материнства, обманулась в своих страстных стремлениях. Это крах женской души... Так интуитивно понимает ее талантливая дебютантка. И сам Шекспир подтверждает ее толкование. В ярко-эротическом безумии, которым он наделил Офелию, картина смерти вытесняется бредом любви. И как ни бессвязен этот бред, всякий вдумчивый зритель видит, что сладострастные образы преобладают в больном мозгу. Недаром поет Офелия о своем Валентине. Недаром поэтический праздник влюбленных, на котором юноши избирали себе на целый год даму сердца, этот праздник, имевший много сходства с малороссийскими обычаями и представлявший, в сущности, красивую «любовь-игру» чисто платонического характера, в больном мозгу Офелии превратился в банальную историю соблазна и обмана. Недаром вспоминает она балладу о девуш-

ке, соблазненной управителем...²

По Шекспиру, безумная Офелия выходит с лютней. Так значилось в первых изданиях *Гамлета*. Но позднее эта деталь была устранена. Варламов для русской сцены написал трогательную музыку. И Неронова без слез не могла вспомнить, как пела ей эти песни Н. В. Репина, обладавшая голосом настоящей оперной певицы.

Когда Неронова входит, словно вздох проносится в зрительном зале. Она входит стремительная, с блуждающей на губах улыбкой. Взгляд ее не дик, не страшен, скорее весел. Но совсем пустой. На ней нет традиционного белого платья. Она вся растерзана. Подол у нее в грязи. Расстегнутый лиф спустился с одного плеча. Давно не чесанные волосы спутанной волной упали на спину. В них зацепилась солома. Видно, что безумная бродит по полям без призора днем и ночью, во всякую погоду. Еле держатся на ногах изношенные туфли. Никакой романтики. Но жутко веет от этого реализма.

«Это сама жизнь, – думает Муратов. – Но какое дерзновение!»

«Где... где она, прекрасная владычица?» – торжественно спрашивает Офелия и гордо кланяется присутствующим. Королева идет ей навстречу. Но безумная не узнает ее и смеется. Жутко слушать этот смех и видеть эти бесцельные, не всегда соответствующие словам жесты ее рук, плеч, движения головы, ее мимику.

² См. позднейший перевод Кронеберга. – *Примеч. автора.*

Капельмейстер стучит палочкой по пюпитру. Офелия поет под оркестр:

Моего вы знали ль друга?
Он был бравый молодец.
В белых перьях статный воин,
Первый в Дании боец...

Королева. «Ах, бедная Офелия!.. Что ты поешь?»
Офелия. «Что я пою?.. Послушай, какая песня...»

Но далеко за морями
В страшной он лежит могиле.
Холм на нем лежит тяжелый.
Ложе – хладная земля...

Король берет ее за руку... «Что с тобой, милая Офелия?»
Она переводит на него немигающий взгляд, в котором застыл ужас воспоминания, и равнодушно отвечает:

«А что я?.. Ничего... Покорно благодарю... Знаете ли, что совушка была девушкой... а потом стала совой...» – таинственно сообщает она, озираясь, приложив палец к губам. И вдруг опять тоска в лице, какой-то проблеск сознания: «Ты знаешь, что ты теперь... Да не знаешь, чем ты будешь...»

Какой скорбный голос! Какое страдающее лицо!.. Но не успели смущенно переглянуться король с королевой, как снова скачок мысли, снова пустой взгляд и легкомысленный

смех.

«Здравствуйте!.. Добро пожаловать!» – говорит Офелия и чинно приседает.

«Бедная! Она не может забыть отца», – замечает взволнованный король.

Но Офелия лукаво грозит ему пальцем. На губах ее блуждает бесстыдная улыбка. Она весело лепечет:

«Отца?.. Какой вздор!.. Совсем не отца... А видите что... Она пришла на самом рассвете Валентинова дня и говорит!..»

И она опять поет, с чувственным блеском в глазах, со страстными жестами:

Милый друг, с рассветом ясным
Я пришла к тебе тайком,
Валентином будь прекрасным!
Выйди... Здесь я под окном...
Он поспешно одевался...
Тихо двери растворил...
Быть ей верным страшно клялся...
Обманул... И разлюбил...³

Королева смущена. Король говорит: «Полно, Офелия!..»
Вдруг лицо ее искажается. Взгляд углубился. Встали при-

³ В подлиннике и в позднейшем переводе Кронеберга сказано еще определеннее: «С нею в комнату вернулся, но не дево́й отпустил...» – *Примеч. автора.*

зраки воспоминаний и закивали ей из мглы бледными ликами... Она поет:

Другу девица сказала:
«Ты все клятвы изменил.
Я тебя не забывала,
Ты за что ж меня забыл?»
Друг с усмешкой отвечает:
«Клятв моих я не забыл...
Разве девица не знает?
Я шутил, ведь я шутил...»

Трагическим воплем срываются внезапно эти слова... Высокая нота звучит раздражающе, словно крик боли. Точно кто-то раздернул завесу. И безумная увидала прошлое: свое короткое счастье, свои разбитые иллюзии... И всем до единого зрителя в огромном театре становится понятным это банкротство женской души, живущей одной любовью. И гибнущей, когда любовь уходит.

Схватившись за голову, Офелия рыдает.

Трепет пробегает по толпе зрителей. Королева закрывает лицо. Король испуганно спрашивает придворных:

«Давно ли она так больна?»

Офелия поднимает голову. На губах еще застыла гримаса страдания. А сознание уже уходит из взгляда. Это опять тот же пустой взор, бессмысленно скользящий по предметам... Она прислушивается, озирается. Церемонно подбира-

ет шлейф платья.

«Все это будет ладно, поверьте, – говорит она солидным тоном. – Только потерпите»...

Но снова потускнели глаза, дергаются углы губ, и голос дрожит. «А мне все хочется плакать, как подумаю, что его зарыли в холодную землю...» И вдруг беспечный жест... «Брат мой все это узнает... Спасибо вам за совет... Подать мою карету!» – вдруг гордо восклицает она, выпрямляясь. Потом склоняется пред королем в придворном реверансе, а королеве небрежно кивает головой: «Доброй ночи, моя милая... Доброй ночи!...»

Она уходит. Весь зал вызывает ее.

Робко показывается она в дверях на мгновение, низко склоняется. Исчезает опять. Но публика не может успокоиться. Она растрогана, она потрясена захватывающей искренностью и жизненностью исполнения. Бешеные аплодисменты верхов не дают говорить королю. Все там, на сцене, шевелят губами, жестикулируют... Ничего не слышно... Тише!.. Тише... – протестует партер. Но энтузиазм молодежи заражает всех. Дебютантку единодушно вызывают опять, и целую минуту она не может уйти. Она благодарно глядит вверх, прижимает руки к бьющемуся сердцу. Глаза ее полны слез. Муратов и Хованский это видят.

Ушла. И все стихает, как по волшебству. Но как-то чувствуется, что никого не интересуют ни король, ни королева, ни Лаэрт. Понемногу начинают говорить, обмениваться впе-

чатлениями, кашляют, сморкаются, точно всему залу крикнули. «Оправься!..»

Сейчас опять войдет Офелия. Сейчас ее последняя сцена.

– Где же цветы! – испуганно спрашивает режиссер Неронову за кулисами. У нее в волосах венок из соломы.

Она улыбается:

– Не надо цветов. Ведь она сумасшедшая... Ей только кажется, что у нее цветы...

Режиссер всплескивает руками.

– Ваш выход, – кричит помощник режиссера Нероновой.

– Вот и подите, какие штучки откалывает! – тараща глаза, шепчет антрепренер режиссеру. – Все новости... Все по-своему... Муратов говорит: «Дерзновение...» А по-вашему как?

Режиссер раскачивается из стороны в сторону, держась за голову. Оба они, затаив дыхание, глядят на дебютантку из-за кулисы.

Она вошла, и зал точно замер. Тишина напряженная, глубокая. Пока Лаэрт говорит свою риторику с холодным пафосом, Офелия медленно подходит к рампе, угнетенная, скорбная, трагическая. Глядя в толпу, она поет под мерные, торжественные звуки, которые тяжело падают, словно комья земли на крышку гроба:

Схоронили его с непокрытым лицом,
Собирались они над могильным холмом...

И горячие слезы катились ручьем,
Как прощались они с стариком...

«Прощай, голубчик!» – тихо заканчивает она. Но такой раздирающей тоской полон этот голос... Слезы, неподдельные, крупные, бегут по ее щекам. В ответ из зрительного зала несутся рыдания.

И вдруг зигзаг... Неожиданный скачок мысли. Офелия уже встрепенулась. К чему-то прислушивается. Она берет Лаэрта за руку и говорит нетерпеливо: «Вам надо петь... «Долой, злодей... На казнь, злодей!..» И она ритмически, быстро бьет такт ногой и руками...

Опять навязчивая идея овладела больным мозгом. Лукаво сверкнули глаза. Чувственно улыбаются губы. Прижавшись к плечу Лаэрта, грозя ему пальцем, она говорит полупшепотом:

«Славная песенка! Вы знаете? Это о том паже, который похитил дочь рыцаря...»

Лаэрт смущен. Королева пожимает плечами.

Грациозным жестом подобрав юбку, Офелия подает брату воображаемые незабудки. «Не забывай меня, милый друг!..» – страстно дрожит ее голос.

С неподдельным изумлением переглядываются артисты, когда Офелия, протягивая королю и королеве пустые руки, предлагает им тмин, ноготки, руту... Но жуткое впечатление производят на зрителей эти жесты, эти цветы, которые видят

только очи безумной. Она как дитя, для которого ободран-
ный диван – волшебный дворец, а книжный шкаф – страш-
ная гора. Разве поймут его взрослые люди?..

«Какой верный штрих!» – думает Муратов.

Офелия говорит королеве:

«Фиалок нет, извините... все завяли, когда умер мой
отец». Она роняет руки, растерянно смотрит на королеву.

«Да не бойтесь... ведь он умер спокойно», – шепчет она,
тревожно озираясь. Чувствуется, что нарастает какое-то тем-
ное, мучительное чувство. Ах, это опять проблеск созна-
ния... Это страшное воспоминание о похоронах Полония...
Заломив руки, в безграничном отчаянии перед непоправи-
мым, она не поет, а почти кричит голосом, полным ужаса и
бескрайней скорби:

Он не придет... Он не придет...

Его мы больше не увидим...

Нет... умер он... похоронен.

Его мы больше не увидим...

В оркестре пробегают какие-то воюющие, полные угрозы
хроматические гаммы. И безумная, словно прислушиваясь,
расширив глаза, поет речитативом:

Веет ветер над могилой,

Где зарыли старика...

И три ивы... три березы посадили...

Они плачут... Они плачут...

Они плачут, как печаль моя, тоска...

Душу надрывающие, прерывистые от слез звуки дрожат и выются над толпой, создавая жуткую иллюзию.

Офелия опускается на колени. Таинственные глаза безумной глядят вверх, как бы за грани мира. Слезы бегут по лицу ее. И женщины в ложах рыдают... Что это? Все оглядываются на миг. С кем-то истерика. Всколыхнулась взволнованная толпа... И как бы в ответ на эти слезы, протянув руки к зрителям, Офелия поет с бледной улыбкой всепрощения, но тем же рыдающим голосом:

Не плачьте!.. Не плачьте!.. Молитесь о нем...

Покой его, Боже мой... праведным сном...

С последним аккордом она склоняется до земли, закрыв лицо руками. Словно раздавленная судьбой.

Буря аплодисментов поднимается в театре.

– Вы плачете? – удивленно спрашивает Хованский Мура-това.

– Да, плачу... Я счастлив, что могу плакать...

Но артистка продолжает играть. Она встает. И лицо ее так необыкновенно, что мгновенно стихают пораженные зрители. Слабыми, однообразными жестами откидывая с бледного лба спутавшиеся волосы, она отступает медленно в глубину сцены, точно прислушиваясь к какому-то таинственному

зову. Точно подчиняясь манящему голосу. Глаза удивленно, напряженно глядят вверх. Это уже не пустые, не безумные очи. Лицо странно озарилось, словно преображенное предчувствием Вечности, на пороге которой стоит бедная дочь Полония... И то же предчувствие близкой и страшной развязки звучит в последних словах ее, брошенных шепотом: «Покой, Боже, души всех, кто умер... Молитесь за него и... Бог с вами!..»

Все так же медленно отступает она, с неподвижным взглядом... Бледные руки делают предостерегающие, заклинающие жесты, точно она хочет сказать: «Тише!.. Тише!.. Сейчас все станет понятным... Молчанье...»

Вот она у двери. Приложила палец к губам. Бледно улыбнулась.

Исчезла.

Истерические рыдания несутся из лож. Точно разом проснулась толпа, парализованная этими таинственными, заклинающими жестами Офелии. Овация возобновляется. Никто не слушает заключительных слов короля. Восторженно, исступленно вызывают дебютантку. Все встали: в ложах, в партере, на галерее. Женщины плачут. Машут платками. Машут шарфами.

– Вот так оказия! – в десятый раз повторяет антрепренер режиссеру.

Тот молча вытирает снятые очки. Глаза его влажны.

Когда Неронова, ошеломленная этим приемом, выходит,

наконец, за кулисы, она бледна. Она шатается от волнения. Ей подставляют стул. Она садится и закрывает лицо руками. Сон это, что ли?

Кто-то говорит над нею... Она поднимает голову. Режиссер хватается ее руки и целует.

– О!.. Что вы делаете?

– Плачу, плачу от восторга... Ведь я первый вас угадал... Первый в вас поверил...

У нее горло сжалось, нет слов. Она бежит в уборную, опустив голову, чтоб пожарные и рабочие не видели ее слез. Антрепренер догоняет ее. Семенит рядом, гогочет, потирая руки... Что такое он говорит?

– Позвольте вам представить: наш меценат Муратов...

Кто-то большой, с гривой седеющих волос... Какие славные глаза!

– И ваш страстный поклонник, – заканчивает Муратов, кланяясь в пояс. – Благодарю вас за минуты, которые я пережил! Я их никогда не забуду...

Его голос срывается от волнения. Как горяч и выразителен взгляд его совсем еще молодых глаз! Надежда Васильевна смущена. Никто так хорошо, так любовно не глядел на нее. Ни от кого еще не слышала она таких прекрасных слов. Спазм опять сжимает ее горло. Молча, наклонив голову, она скрывается в уборной.

А Муратов не слышит того, что говорит ему подплясывающий перед ним жизнерадостный антрепренер. Он держит-

ся рукой за грудь. «Опять перебои в сердце... Но за такие минуты не жаль и умереть...»

– Ардальон Николаевич, – кричит помощник, издали маша руками. – Вы посмотрите, что делается! Кассу с бою берут... На *Отелло* записываются...

– Неронова-а... Неронова-а-а... – кричат студенты. И в ложах и в партере начинают снова аплодировать.

Режиссер под руку ведет Неронову на сцену.

Успех бурный, внезапный, превысивший всякие ожидания.

Артисты растерялись. Никто из них не поздравил дебютантку. Все сплотились в одном чувстве обиды и враждебности. *Гамлет* в уборной пьет коньяк и с каждой рюмкой становится все мрачнее. Антрепренер зайцем пробегает мимо своего кабинета. Там сидит Раевская. Она пришла за кулисы, чтобы взглянуть в лицо Нероновой «после провала», в котором вчера еще никто не сомневался... Теперь *королева* поит ее водой. Раевская кричит, сжимая кулаки:

– Подайте мне этого старого черта Ардальона... чтоб я ему сама глаза выцарапала!..

«Дудки! – думает антрепренер, с резвостью мальчишки шмыгая за кулисами и стараясь держаться на людях. – Не пойду тебя утешать, милая... теперь я золотую жилу нашел... Плачь хоть в три ручья! Не боюсь...»

Пятый акт начался.

И актеры сразу чувствуют, что с уходом Офелии со сцены настроение зрителя упало. Можно ли это простить? И Нероновой этого не прощают. Мало того: половина партера разъезжается до дуэли. *Гамлета* вызывают, но без всякого вознаграждения. Лирский возмущен. Отец от него прячется.

Толпа студентов кидается к выходу. Ждут Неронову. Но ее нет в театре.

Сняв грим и спешно переодевшись, она незаметно вышла черным ходом, когда начался пятый акт. Так хотелось на свежий воздух! Так хотелось остаться одной...

– Поздравляю вас с успехом, сударыня! – сказал чей-то робкий голос в сенях.

Она оглянулась и увидела портниху. С узелком в руке она торопилась домой, где ждали ее больной муж и дети.

– Милая... Спасибо вам!

С неожиданным порывом Надежда Васильевна обняла и крепко поцеловала смущенную портниху.

– Вы видели?... Вам нравится?..

– Господи, Боже мой! Как не нравится?... Я плакала... Да что я?... Весь театр, как один человек, на ноги встал... Десять лет служу при театрах, никогда такого успеха не видала... Я за вас, сударыня... то есть вот как рада!.. Что же это вы пешком?... Позвольте я вам дрожки кликну...

– Нет, нет! Я рада пройтись... До свиданья, милая!.. Спасибо вам за доброе слово!.. Никогда его не забуду...

В эту ночь она засыпает только под утро.

Не спится и Муратову. Его преследует трагическое лицо Офелии... звук ее голоса, когда она пела... «В *страшной* он лежит могиле...» Как она сказала это слово!.. Каким ужасом повеяло от него в душу! Все значение смерти для живущего вскрылось в этом дрогнувшем звуке. А заключительная строфа песни: «Покой его, Боже мой, праведным сном...» Что за вопль! Что за страдание!.. И голос не особенно велик... Но дикция... Эти ноты звенят в мозгу. Не дают заснуть...

Он встает. Надевает халат. Зажигает свечи. До зари он пишет не то письмо, не то дневник. Ему надо освободить свою душу от нахлынувших в нее впечатлений... «Я влюблен. Влюблен без памяти...» – говорит он себе.

И улыбается своему счастью... Разве не счастье в его годы, после бурно прожитой жизни найти в своей душе эту способность любить и плакать?

На другой день к десяти часам за Нероновой приезжает карета. Во всем предместье переполох. Карета с дворянским гербом. Это Муратов, вчера узнав, к своему ужасу, что Неронова пешком ушла из театра, просил антрепренера предоставить его экипаж в распоряжение дебютантки.

– Вот спасибо!.. На сколько же?.. Живет ведь она у черта на рогах...

– Ах, Боже мой!.. Хотя навсегда... Лишь бы она не знала, что это мои лошади!

Мальчишки встречают карету гиканьем и свистом. Собаки лают. Гуси гогочут. Жители окраины сбежались взглянуть на актеру. Как сквозь строй, идет Надежда Васильевна к экипажу. Хозяин ухмыляется, поглаживая бороду. Он лучше всех знает «дела» этой барышни. Вот уже две недели, как она питается либо сбитнем с сайкой, либо тарелкой щей. Даже самовара никогда не спросит.

Карета закачалась по грязи. Посреди улицы огромная, никогда не просыхающая вплоть до морозов лужа. Ходят по краю, около домов. Никто тут не ездит. Все берут в объезд, с главной площади, делая большой крюк. Ямщики это знают. Кучер ругается. Все колеса в грязи, весь задок обрызган. «Перекинется... Нет, не перекинется...» – спорят жители. Мальчишки улюлюкают, свистят. Надежду Васильевну кидает из стороны в сторону. Она визжит, зажмурив глаза.

Второй дебют проходит в необычайно торжественной обстановке. Приехал губернатор с женой. Съехались помещики из уездов. В ложах дамы ослепляют туалетами. Все в светлых платьях-декольте, с жемчугами и бриллиантами. В волосах живые цветы. Настроение повышенное. Атмосфера праздничная, напряженная, как бы насыщенная электричеством.

Студенты встречают Неронову аплодисментами. Из оркестра подают громадную корзину цветов. Это Муратов опустошил оранжереи в своем имении и скупил лучшее, что нашел в городе, у садовников. С «водевильной» Струйской ис-

терика.

«Ладно, ладно!..» – шепчет Раевская и загадочно улыбается. Она и немногие незанятые в этот день актеры и актрисы сидят в оркестре.

Дездемона входит в залу Совета легкой, но твердой поступью и не опускает глаз перед дожем. Это рыжая, гибкая, тонкая венецианка, с огневыми глазами. Нервные ноздри ее трепещут. Движения стремительны. Это уже не смиренная, робкая девица, «красневшая от собственных движений», – как характеризует ее родной отец. Он сам не узнает ее теперь. Она женщина. И женщина, которая борется за право любви и выбора. Страсть разбудила все дремавшие возможности. В передаче Нероновой *Дездемона* впечатлительная, романтическая, порывистая, но глубокая натура; не столько чувственная, сколько страстная; жаждущая слить самозабвение в любви с преклонением перед избранником... Ей было из кого выбирать в блестящей Венеции. Но взор ее остановился на безобразном и немолодом Мавре. В лице его ей «является его дух...» Она полюбила его за страдания, а он ее «за состраданье к ним...» Только герой мог стать ей мужем. А Мавр был героем и страдальцем. И вот почему вся душа ее рванулась к нему. И в этой вспыхнувшей внезапно страсти сгорела ее стыдливость... Не наградила ли она Отелло «целым миром вздохов»? Не она ли первая призналась ему в любви и позволила ему похитить ее из родительского дома, где брак с Мавром считался бесчестьем? Не она

ли бесстрашно пошла рука об руку со своим избранником навстречу суровой судьбе?.. Дездемона – яркая личность. И такой играет ее Неронова... Как далек этот образ от анемичных белокурых ангелов казенной сцены! Как далек он даже от ограниченной, дюжинной *Офелии*! Жена-Офелия всегда будет рабой. Дездемона – это друг и товарищ, не способный ни на ложь, ни на измену... «Не может быть бесчестной Дездемона!» – говорит Отелло.

О, как близка, как понятна эта женщина Надежде Васильевне! Ей почти не нужно работать над этой ролью. Здесь она дает публике *себя*. Она раскрывает перед ней собственную душу... Весь ее мощный темперамент впервые проявляется в сцене объяснения с отцом и дожем.

И темперамент этот так захватывает, так взвинчивает зрителя, что опять весь театр вызывает дебютантку.

Дальнейшее действие – сплошной триумф.

«В чем тайна этого обаяния? Этого успеха? – думает Муратов. – Почему все мы плачем? Почему безумствуем?.. Потому что это не игра, не искусство... Это сама жизнь, которая победно вырвалась из оков рутины. Это то, что уже сделано в Москве Мочаловым и Щепкиным. Это конец классицизма и романтизма... Лет через пять эта женщина создаст в провинции новую школу. Никто даже в драмах не будет менуэтно выступать, как и сейчас выступает в Париже Рашель, а в Петербурге Каратыгин и прекрасная, но холодная Асенкова. Еще лет пять, и никто уже не будет принимать хо-

дульных поз, и делать условные жесты... Никто не будет говорить с ложным пафосом или «петь», как поют даже в комедиях французские актрисы. Эти образцы забудутся. Простота, естественность, непосредственность Нероновой обаятельны, потому что это искусство будущего...»

В сценах с Отелло, оскорбляющим Дездемону, дебютантка плачет настоящими слезами. «Потом она научится владеть собой», – думает Муратов. – Будут плакать все. Не она...»

Перед последним актом, после вызовов, Неронова выходит за кулисы и попадает в объятия Раевской.

– Поздравляю вас! – сладко говорит та и целует Неронову в щеку.

«Это что же будет? – думает антрепренер, издали наблюдая эту сцену. – Поцелуй Иудин?.. Не готовит ли она какую-нибудь пакость?»

Сильное впечатление производит сцена с Эмилией, когда Дездемона рыдающим голосом поет об *Ивушке*, когда она трогательно говорит о любви к мужу... Она все прощает ему: его оскорбления, побои... Но это не покорность рабы. Это снисхождение. Это жалость сильной и правой к слабому и заблуждающемуся.

Только перед смертью мужество покидает гордую Дездемону. Как ребенок боится тьмы, так она боится уничтожения. Жизнерадостная, она не может, не хочет верить в близкий конец. Ей так ясна ее собственная правота... Как страст-

но, как стремительно защищается она от обвинений мужа! С какой потрясающей искренностью и силой на слова Отелло: «Подумай о грехах своих...» – у нее срывается крик: «Мои грехи – моя любовь к тебе!...»

Словно глубоко вздохнула пронзенная этим криком толпа. Но никто не аплодирует. Задерживая дыхание, все следят за развитием драмы. Но вот ужас агонии исказил черты Дездемоны. Она плачет, как беспомощный ребенок. Она ползает на коленях, умоляя о пощаде: «О, убей хоть завтра!.. Но эту ночь дай мне прожить!..» «...Хоть полчаса...» – слабо стонет она и мечется в безумной тоске. Он бросает ее на кровать... «Дай мне прочесть молитву!..» – вдруг срывается у нее страшный шепот. Но его слышат во всех углах театра. И зрители замирают от ужаса, как бы позабыв, что перед ними подмости, и что этот предсмертный хрип – искусство.

Никто уже не интересуется ни Отелло, ни Эмилией. Все подавлены. Бесконечной риторикой кажутся завывания Лирского после «кусочка жизни», ослепившего зрителей своей правдой и глубиной... Кое-как дослушан акт, и начинается овация.

Но почему так долго не поднимают занавеса? Почему вместо дебютантки выходит Отелло, о котором все забыли? Публика требует Неронову. В партере все покинули места и толпятся у барьера. Из оркестра подают лавровый венок от полицмейстера, страстного театрала, и высоко держат его над будкой суфлера... А дебютантки все нет.

Наконец она появляется бледная, ослабевшая, опираясь на руку режиссера, и слабой улыбкой благодарит публику.

«Она плачет...» – экспансивно шепчет Муратов.

– Что вы говорите? – спрашивает Хованский соседа.

Муратов, словно проснувшись, оглядывается на него.

– Взгляните!.. Она плачет...

– И слезы не портят ее... Это удивительно!.. Пикантная женщина!..

Досадливо сморщившись, Муратов отходит от него.

Неронову вызывают без конца.

– Вы не хотите дать мне руки? – враждебно спрашивает ее Лирский-Отелло перед поднятием занавеса.

– Не хочу, – твердо отвечает она. – И вы сами знаете, почему...

Лирский бледнеет.

– Что такое? – испуганно спрашивает антрепренер.

Режиссер вытирает платком лоб. Губы его дрожат.

– Какую штуку подстроили!.. Постель-то ее ведь провалилась...

– Что вы такое мне говорите? – вскрикивает антрепренер.

– Подите, взгляните... Подпилили доски, с расчетом на скандал... Как только начал он душить ее, она почувствовала, что доски под ней опускаются...

– Вот так подлость!.. Как же ей удалось продержаться?

– Уперлась затылком и носками в края... Хорошо еще, что она росту выше среднего, а то упала бы на пол. Подумайте,

какое самообладание!.. Зато потом видели ее?.. Я в уборной ее нашел в истерике...

– Ах, скандал, скандал!.. Знаю я, чьи это штуки!

– Еще бы не знать!

Сеет осенний дождь, когда Надежда Васильевна в драповой тальме идет к подъезду, где на этот раз опять ждет ее карета Муратова.

Вздвогнув, Неронова останавливается.

Через стеклянную дверь она видит толпу. Беззвучно, неподвижно замерла у крыльца эта загадочная толпа.

– Вас ждут, – почтительно докладывает швейцар.

Сердце ее словно падает. Она уже не гордая патрицианка, нашедшая силу деспотизму отца противопоставить собственное достоинство. Она опять боится людей. Опять не верит в себя и какому-то чуду приписывает свой триумф.

Плотно запахнувшись в свою тальму, она скрывается через черный ход – и исчезает в переулке.

А толпа ждет ее целый час.

– Где она живет? – спрашивает Хованский у швейцара.

– Далече, ваше сиятельство... На краю города. Слыхали, постоялый двор купца Хромова?

С двенадцати часов на другой день у театра, рядом с афишами, извещающими о третьем дебюте Нероновой, висит аншлаг: *Все билеты проданы*. И все-таки толпа студентов не расходится. Ждет.

Карета Муратова, посланная антрепренером за дебютанткой, останавливается у подъезда. В окне мелькает смуглое лицо с темными, испуганными глазами.

– Браво... Браво, Неронова! – раздаются восторженные крики.

Дебютантку на руках выносят из кареты... Она бледна. Ее губы дрожат. Ей кажется, что это сон.

Антрепренер целует ее руку. Режиссер подает ей стул. Враждебная, но сдержанная группа ее будущих товарищей корректно кланяется ей.

«Что за чудеса!.. – думает она тревожно. – Опять какую-нибудь гадость готовят мне...» Она плакала эту ночь. Нервы ее издерганы.

– Надежда Васильевна, – говорит режиссер, – прочтите-ка, что пишет нам Муратов о вас...

– Обо мне? – упавшим голосом переспрашивает она, боясь взять толстый пакет... «Ругает, наверное... Боже мой! Боже мой!.. Что я наделала? Вот мне и наказание за то, что взялась не за свое дело...»

Она боится глядеть товарищам в глаза.

Это письмо Муратов писал ночью, под свежим впечатлением второго дебюта... Он называет Неронову восходящей звездой, русской Рашелью. Все письмо – сплошной дифирамб. «Неужели такой клад не удержат в труппе?» – заканчивает он.

В принципе этот вопрос уже решен антрепренером. Но

он помалкивает, боясь интриг сына и истерик Раевской. Он ждет третьего дебюта. Сыну он «закатил» такую сцену, что своенравный трагик ошеломлен, подавлен. Отец в долгу как в шелку у Муратова. Сам он тоже должен ему порядочную сумму... А послезавтра его бенефис.

– Все это так... да что я буду делать с Евлалией Борисовной?

– А начхать мне на твою Евлалию Борисовну!.. Скажите, пожалуйста... Евлалия Борисовна... Она тебе поднесла персидский ковер? Она тебе подарила сервиз серебряный?.. Не Муратов разве? Если с ним поссориться, закрывай лавочку. Сам знаешь, какие убытки понес я прошлый сезон. А вот погоди, как он узнает о вчерашней проделке вашей с кроватью...

– Странное дело! Я-то при чем?.. Это бабья интрига...

– То-то, бабья... Все вы бабы, как дело дойдет до чужого успеха...

– Вы, надеюсь, ему не рассказали?

– Я-то себе не враг... А и кроме меня найдутся языки. Сама расскажет...

– Черт знает что такое! И угораздило их перед моим бенефисом! Она мне руки вчера не подала...

– И поделом! Не вяжись с бабами! Не пляши под их дудку...

– Значит, она уже принята в труппу? Это дело решенное?

– И подписанное, сударь мой... С публикой не поспо-

ришь.

Только у себя в номере Надежда Васильевна разворачивает письмо Муратова. Прочла и не понимает... Читает вновь. Ахнула, за виски схватилась. Тихонько крестится. На глазах слезы. Кто этот неведомый друг? Сам Бог послал его ей в эти трудные минуты... Она плачет сладкими, облегчающими слезами... Потом целует дорогое письмо и бережно прячет его в шкатулку, на дно сундука.

Вдруг она вспоминает большое, грузное тело, седеющую гриву волос, горячий взгляд молодых еще глаз... Да... да... он самый...

Она задумывается.

Лирский в свой бенефис ставит драму Полевого *Уголино*. Бенефициант играет *Нино*. Раевская – *Веронику*.

Театр полон. Новая пьеса всегда интересна. Обещан новый водевиль с пением – со Струйской в главной роли. Лирского любят... Несмотря на ходульность его игры, на «холод его пафоса», как смеется Муратов, неподдельный талант дает себя знать. Он был местами хорош в *Гамлете* и еще лучше в *Отелло*. Но бездарная пьеса и ходульная роль *Нино*, в которой так прославился Каратыгин, оставляет зрителей холодными. Все-таки Лирского много вызывают. Ценные подношения разогревают как будто публику. Чувствуется, тем не менее, что это *succès d'estime*... Так, улыбаясь, объясняет Хованский своей матери. Она сидит в ложе, обнажив желтые

старые плечи, и в лорнет глядит на Неронову. Антрепренер накануне еще пригласил в свою ложу Надежду Васильевну. И все бинокли из партера направлены на нее.

В антракте антрепренер приводит в ложу Муратова.

Растерянный, красный, слегка задыхающийся от волнения, почтительно склоняется Муратов перед Нероновой.

– Так это вы писали? – глаза ее сияют нежностью. – Как мне благодарить вас?.. Я сохраню ваше письмо...

– Это мне надо благодарить вас... Вы подарили мне такие минуты... Теперь я раб ваш на всю жизнь...

Она краснеет. Она счастлива. Никто не говорил ей таких чудных слов...

Взгляд ее падает на новое лицо. Офицер, стройный, белокурый, женственный, с маленькими руками, с надменным взглядом... Как тонко, как зло улыбается он, глядя на грузную спину Муратова! Сердце ее сжимается от этой улыбки.

– Князь Хованский, – говорит он небрежно, подходя и кланяясь.

От него веет холодом. Но как красив!.. Она никогда не встречала таких. Только в мечтах. Точно воплотились ее сны... Он похож немного на Владиславева. Но тот был только актер на маленькие роли. А этот – сказочный принц.

Входит полицмейстер и, молодцевато расшаркнувшись, представляется артистке. Высокий, полный, с шапкой седых волос, он – гроза города и страстный театрал. Он почти-тельно кланяется гвардейцу, дружески здоровается с Мура-

товым. В бессвязных, но трогательных выражениях он высказывает Нероновой свой восторг. Ложа полна народу. Полковой командир с женой, жена майора, много военных дам... Надежда Васильевна совсем растерялась.

Звонок. Все уходит из ложи. Хованский и Муратов просят разрешения остаться. Муратов говорит, что послал Песоцкому в Петербург, в его журнал *Репертуар русского театра*, большую статью об ее дебютах. Он часто там пишет... Неронова краснеет и благодарит. Потом Муратов рассказывает что-то интересное о Париже, о несравненной игре Рашели... Надежда Васильевна слушает, но глядит на гвардейца, который ничего не говорит... Почему он здесь? Наверно, скоро вернется в Петербург. Как жаль!.. Он стоит за креслом Муратова, надменный и изящный, весь какой-то «точеный»... В своей наивности она не подозревает, как красноречивы ее горячие взгляды.

Но когда поднимается занавес, она уже опять вне мира. Она сама переживает сладостно и мучительно все, что видит. Игрой артистов она не удовлетворена. Сколько деланности, сколько лживого пафоса в игре Раевской. Это расхолаживает... Муратов внимательно следит за Надеждой Васильевной. Он улыбается. До чего непосредственна эта женщина! Лицо ее отражает все ее чувства. Она ничего не может скрыть.

– А как вам нравится *Нино*? – тихонько спрашивает он. Их глаза встречаются. Она опускает ресницы.

– В этой роли я видела Мочалова.

– А! – коротко срывается у Муратова.

Когда занавес падает, Муратов беззвучно смеется, трясясь всем телом.

– Этот *Руджиеро* великолепен, – поясняет он Надежде Васильевне. – Он так старается, чтоб нам было страшно... А этот милый *Нино*-Лирский... Я все боюсь, что он забудется и уйдет за кулисы с поднятой вверх рукой... как принято было в двадцатых годах уходить со сцены после патетического монолога.

Тонкие брови Надежды Васильевны дрогнули.

– А у вас злой язык...

– О... На него никто не угодит, – внезапно с иронией подхватывает Хованский.

Муратов с юмором щурится на него. «Наконец ты, мой милый, распечатал уста», – говорит его усмешка.

В антракте он горько сетует на упадок театра. Ободовский и Полевой наводнили репертуар плохими драмами. Но Ободовский не лишен таланта. Кое-что ему удастся. И если б не эта несчастная необходимость заманивать публику на бенефисы аршинными афишами, если б не эта отчаянная погоня за новизной и разнообразием, быть может, мы имели бы и более серьезные пьесы... А наплыв водевилей и переделок с французского! О, Боже мой! Как все это остроумно и красиво в Париже и даже у нас, в Михайловском театре, в Петербурге... Но что за несчастная мысль приспособлять

к русским нравам то, что свойственно только французам!.. Даже талант Ленского не спасает его от нелепостей... И вкус публики падает, грубеет от этой пошлости, затопившей театр. Пора вернуться к Шиллеру, к Гете, к Шекспиру, к Мольеру... Честь ей и слава, что она не побоялась выступить с таким репертуаром! И успех ее – живой показатель того, что в публике не заглохла еще потребность в красоте и в истинном искусстве.

Ах, хорошие, золотые слова!.. Но рассеянno внимает им молодая артистка.

Гвардеец опять ничего не говорит, а только позирует своей стройной фигурой на фоне убогой бархатной портьеры. Смущенno отворачивается Надежда Васильевна от его пристальных взглядов.

– Мы с вами, кажется, опять на одной дороге столкнулись, – небрежно говорит Хованский Муратову, в следующем антракте встретив его в буфете.

Муратов пожимает плечами.

– Простите... Я не совсем понимаю, о чем вы говорите... Его тон сух и надменен. Хованский встревожен.

Публика принимает Раевскую хорошо, но без подъема и восторга. Она уязвлена и рыдает в уборной. Наемная клака работает во всю. Но разве это то, что ей нужно?.. Неронова отняла у нее любовь публики. Струйская тоже вне себя. Она боится потерять Муратова.

– Могу я вас довести до дому? – спрашивает Хованский

Надежду Васильевну.

Она испугана. Ехать с таким принцем? Он увидит ее убогий номер, догадается об ее нужде... Ни за что!

Жест ее так решителен, что князь не смеет настаивать. Вместе с Муратовым он подсаживает артистку в карету и целует ее руку, кинув ей долгий взгляд.

Ей плохо спится в эту ночь.

На репетиции днем она чувствует, как сгустилась атмосфера кулис. Она насыщена враждебностью. Но дебютантка вспоминает письмо Муратова, и точно камень падает у нее с груди.

А в номерах Хромова переполох.

Грозный полицмейстер явился с визитом к Нероновой.

С гиком несется его коляска по грязной, не мощеной улице. Кучер орет во все горло. Жители в ужасе прижимаются к заборам. А ребятишки, поросята и гуси с отчаянными воплями разбегаются по дворам.

У купца Хромова голова трясется, когда он выбегает на крыльцо.

– Здесь живет Надежда Васильевна Неронова?... Проведи!

Он знает, что она на репетиции. Но ему хочется убедить, что она не терпит притеснений от хозяина и беспокойства от соседей.

Войдя в номерок, он смущенно озирается: «Этакий талантище... и в такой дыре?..»

– Отчего сырость? – гремит он. – Отчего мало топишь?.. Живо протопить!.. И смотри ты у меня, если она пожалует-ся... А тут кто? – спрашивает он, тыча толстым пальцем на стены. – Знаю, что проезжий... Не пьет? Не шумит? Не беспокоит?.. То-то!.. Смотри у меня! Если Надежда Васильевна заявит мне претензию, со свету сживу!.. Номера закрою...

– Это что за грязь? – орет он уже в коридоре. – Почему вонь?.. Фортку откройте...

Он заглядывает и в трактир. Велит запирать его в девять и не шуметь и не скандалить... «Боже оборони беспокоить Надежду Васильевну!..»

Он уносится, как ураган, приказав передать Нероновой об его посещении.

Но не успел он скрыться, как едет чья-то карета с дворянским гербом и ливрейным лакеем.

– Никак к нам опять? О, Господи! – срывается у Хромова... Он вытирает вспотевшую лысину.

Так и есть! Лакей соскакивает с козел, отпирает дверцу. Выходит князь Хованский и легко вбегает в сени, где пахнет табаком и кислой капустой. Брезгливо сморщившись, он держит перед носом надушенный платок.

– Надежда Васильевна Неронова дома?

– Никак нет-с... В театре-с...

– Передайте ей, что был князь Хованский.

В переулке экипаж князя сталкивается с коляской Муратова. Иронически раскланиваются соперники. Мальчишки

через плетень гадают, кто из них «перекинется»...

Хромов выбегает на крыльцо, держась рукой за сердце. Вот напасть!.. Он узнал Муратова.

Лакей хочет откинуть подножку.

– Не надо, – говорит Муратов. – Сходить не буду... Эй, любезный!.. Когда артистка Неронова вернется из театра, передайте, что я заезжал засвидетельствовать ей мое почтение...

Коляска скрылась, а обыватели, собравшись группами, обсуждают события.

В четыре часа возвращается артистка. Хромов встречает ее на крыльце и под локоток высаживает из кареты.

– Бог с вами! Вы простудитесь... Зачем это?

Но он, подобострастно кланяясь, идет за ней по лестнице до самого номера. Там жарко, угарно, пахнет свежевывытым полом, тряпками... Надежда Васильевна кидается к фортке и распахивает ее.

– Что вы делаете, сударыня? Тепла не бережете?.. Видите, как протопили для вашей милости? Гапка битый час у вас убиралась... Ни соринки... Как стеклышко теперь комната ваша... А не угодно ли, сударыня, я вам кредит открою в трактире? Что ж вы все щи с кашей, да щи с хлебом кушаете? Поросеночка заливного под хреном, не прикажете ли? Или рыбки?

Надежда Васильевна благодарит и отказывается наотрез.

С удивлением узнает она о визитерах... Как хорошо, что

Хованский не заходил сюда!... И опять ей стыдно за свою бедность.

Она весь вечер думает о Муратове и о князе. Она не подозревает, что не случайно скрестились пути их жизней... Она не знает, какую огромную роль сыграют они оба в ее судьбе. ...И вот настал вечер третьего дебюта.

Раевская сама предложила играть *леди Мильфорд*. Лирский резко изменил к лучшему свое отношение к дебютантке после своего бенефиса. Он играет *Фердинанда*.

Надежда Васильевна уже одета в традиционный костюм *Луизы*: белокурый парик, фартучек, косынка на плечах и высокий белый чепчик, какой носили все мещанки в XVIII столетии.

После *Дездемоны*, близкой Надежде Васильевне по духу, роль *Луизы* кажется ей всех понятнее и легче... Луиза не принцесса, не патрицианка. Это дочь бедного музыканта, скромная мещаночка без честолюбия. Но гордая, правдивая, страстная, способная к самопожертвованию... А между тем Надежда Васильевна не только волнуется, но и невыносимо страдает. У нее ничего не выйдет. Забудет слова. Не расслышит суфлера. Спутает места. Не найдет тона. И откроются глаза у всех, кто ее чествует и восхваляет... А нынче решительный день. И если она провалится, рухнут все ее мечты.

– Знаете что, – говорит режиссер, подавая ей валерьяновые капли. – Сомнения в себе – прекрасная вещь... Но подобная трусость... извините меня... это уже...

– *Позвольте место!* – раздается условный крик помощника режиссера. Надежда Васильевна бледнеет под гримом и бежит из уборной.

Режиссер сам трусит. Он, как и все в театре, знает, что Раевская и Струйская подкупили клаку, которая будет аплодировать Раевской и свистать Нероновой. Режиссер боится, чтобы эти слухи не дошли до Надежды Васильевны и не лишили ее последнего мужества. Но антрепренер ходит гоголем и потирает руки. «Бог не выдаст, свинья не съест – твердит он режиссеру. – Я на публику рассчитываю».

Театр полон, несмотря на повышенные цены.

За кулисами Неронова как бы в тумане слушает далекие реплики. Она крестится, она пламенно молится, чтобы свершилось чудо, чтобы страсть Луизы к Фердинанду зажгла ее собственную душу.

– Выходите! – говорит помощник режиссера.

Озноб пробегает по ее телу. Она переступает порог.

Боже мой! Какой страшный звук... Точно рухнули стены... Мелькнуло и угасло далекое воспоминание. Действие прерывается. Аплодисменты минуты две не дают говорить Луизе. И она стоит у кулисы, вся склонившись, прижав руки к груди, со спазмом в горле...

И чудо свершается вновь. При первом взмахе ее руки, при первом ее шаге зал стихает мгновенно. И она уже не Надежда Неронова. Она Луиза Миллер. Она любит офицера Фердинанда фон Вальтера. Он ей не пара. Но все-таки он клял-

ся ей в любви. У него прекрасные, словно резцом выточенные черты Хованского, его надменная усмешка, его холодные глаза.

Она подходит к окну и говорит голосом, пронизанным дрожью подавленных желаний:

«Где-то он теперь? Знатные девицы видят его, говорят с ним... А я?... Жалкая, позабытая девушка...»

Боже мой!.. Ведь это самое почти теми же словами она думала всю эту неделю, оставаясь по вечерам одна в своем номере и глядя в ночную тьму...

Она кидается к огорченному отцу... (Разве Луиза не любит его, как она сама любит своего дедушку?) «Нет!.. Нет... Простите меня... Я не плачусь на судьбу. Я хочу только немного думать о нем...»

Трогательно дрожит ее голос, и невольно она глядит туда, где обычно сидит Хованский.

У того мгновенно пересыхает в горле. Муратов тоже перехватывает этот взгляд. Но Луиза уже смотрит вверх, страстно стиснув худенькие ручки. И голос ее звучит, как музыка, когда она говорит: «О, если бы этот цвет моей молодости был простой фиалкой... И он мог бы наступить на него... И я могла бы смиренно умереть под его ногой!..»

Она сама не знает, откуда у нее сейчас эти пронизанные страстью звуки. Ни разу, разучивая роль с Репиной, она не находила их... Офелия не делает таких признаний... Дездемоне, счастливой и удовлетворенной, неизвестны эти деви-

чьи муки подавленной любви. И мощный темперамент артистки снова прорывается в пламенных словах Луизы: «Фердинанд мой. Создан для меня... Когда я увидала его в первый раз, кровь бросилась мне в лицо, и отраднее забилося сердце. Каждое биение говорило мне, каждое дыхание шептало: *это он...* И сердце мое узнало его, вечно желанного, и подтвердило: *да, это он...*»

Бессознательно вновь темные глаза дебютантки кидают быстрый взгляд на бледное пятно лица Хованского там, внизу. Один только миг... И вновь вспыхивает и горит страстью ее голос:

«Тогда... о! Тогда возшло для души моей первое утро. Тысячи новых чувств распустились в моем сердце, как цветы в поле, когда наступает весна...»

Муратов быстро скользит взглядом по лицу Хованского. И опускает голову. Гвардеец заметно смущен.

«Луиза, – говорит Миллер. – Дорогое, милое дитя мое! Возьми мою старую, дряхлую голову... Возьми все, все!.. Но майора, Бог свидетель, я не могу тебе дать!»

И у Муратова больно сжимается сердце, когда Луиза скорбно, но торжественно отвечает: «Я отказываюсь от него в этой жизни... Но когда рухнут грани различий, когда с нас сойдет ненавистная шелуха состояний, когда люди будут только людьми... Придет Господь... Уборы и пышные титулы подешевеют, а сердца поднимутся в цене. Я буду тогда богата. Слезы зачтутся там за триумфы, а чистые мысли за

предков. Там я буду знатна, матушка (вдруг с жгучей горечью срывается у нее)... Чем же будет он тогда лучше своей милой?»

«Я угадал, – думает Муратов. – Она влюблена в это ничтожество... Боже, до чего обидно за нее!..»

Входит Фердинанд. С какою страстью прижимается к нему Луиза! Какой непосредственной, неудержимой, мощной жаждой счастья полны все ее жесты, ее взгляды, ее голос!.. На тревожный вопрос его, когда он увидел ее, бледную, дрожащую, почти без чувств упавшую на стул при его входе, она отвечает, смеясь и плача: «Ничего... ничего... Ведь *ты* со мной!»

Ах, это *ты*!.. Этот грудной, глубокий, полный трепета голос... И она ласкает его лицо, и прижимается к его груди, закрыв глаза, с улыбкой блаженства... Это не чуждое ей лицо Лирского. Точеный профиль Хованского гладит она трепетными пальцами. Это его маленькие, породистые руки она подносит к пересохшим губам.

Зрители, захваченные красотой и жизненностью этой сцены, аплодируют дебютантке. Но можно поручиться, что она не слышит этих выражений одобрения. Они уже не нужны ей. Она так перевоплотилась в *Луизу Миллер*, что вне этих объятий Фердинанда весь мир для нее – сон.

И вдруг истинная трагическая артистка выглянула из скромных до этой минуты рамок роли. Луиза хватается руки возлюбленного и, бледная, жуткая, глухо говорит ему:

«Фердинанд... Меч висит над тобой и мною... Нас разлучат...»

Лирский сам невольно увлекается темпераментом дебютантки. Он прекрасно ведет свою роль. Даже цветистые фразы Шиллера горячо звучат у него нынче:

«Доверься мне! Я стану между тобой и роком. Приму за тебя каждую рану. Сберегу для тебя каждую каплю из кубка радостей. Принесу их тебе в чаше любви...»

Она вырывается из его объятий. Она дрожит. Женщина проснулась в ней. Лицо ее полно отчаяния. Хриплые, прерывистые звуки срываются с пересохших как бы мгновенно уст:

«Я забыла эти грезы и была счастлива... А теперь... теперь... Конеч спокойствию моей жизни!.. *Бурные желанья* – я это знаю – *будут кипеть в моей груди*. Уходи!.. Бог тебя прости... Ты зажег пожар в моем молодом сердце. И этому пожару никогда-никогда не угаснуть!»

Закрыв лицо руками, она убегает. И опять весь театр рукоплещет, вызывая ее.

Хованский задумчиво кусает губы... «Неужели? Неужели... Как она взглянула на меня!.. Пикантная женщина... И я буду глуп, если не воспользуюсь этим случаем...»

Необыкновенно драматично проводит Неронова сцену с президентом, отцом Фердинанда. Он осыпает Луизу оскорблениями. Она сдержанно и кротко отвечает на вопросы. Лицо дебютантки заметно побледнело даже под гримом, и

неестественно расширились ее зрачки.

«Надеюсь, что сын платил тебе каждый раз?..» – вдруг спрашивает ее президент.

Она растерянно глядит ему в глаза... «Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете?» – шепчет она.

И только когда президент цинично обвиняет ее в продажности, а Фердинанд бешено кидается к отцу, Луиза вдруг выпрямляется.

«Господин Вальтер, – гордо отвечает она. – Вы свободны!..»

Но это последняя вспышка. И она падает без чувств.

Лучшая ее сцена, бесспорно, в третьем акте, когда Вурм предлагает ей, в виде выкупа за освобождение ее родителей из острога, написать любовное письмо к гофмаршалу Кальбу. Луиза никогда не видала его. Но не все ли равно? Это письмо покажут Фердинанду. И он отречется от презренной обманщицы. Он женится на леди Мильфорд. Все будут довольны. Кто вспомнит о растоптанной душе бедной девушки?

При первом появлении секретаря – Вурма, втайне влюбленного в Луизу, она пугается его преступного лица, его сладострастного взгляда. Ей вспоминаются предчувствия, угнетавшие ее...

Превосходен был Усачев в этой роли, когда он играл с Репиной в Москве! Здесь Вурм – актер посредственный. Но на репетициях он охотно подчинялся всем указаниям дебю-

тантки и ничем сейчас не нарушает ее настроения.

Она ведет всю эту сцену по-своему. Не так, как вела ее Репина. Она ведет ее с возрастающей тревогой, необычайно стремительно, но в глухих нервных тонах, почти полупотом. Лишь изредка прорываются у нее полузадушенные вопли «о, Боже мой!..» и жесты отчаяния.

Она садится.

«Что мне писать? К кому писать?» – как в бреду спрашивает она.

«К палачу вашего отца...»

Луиза (все так же глухо). «О, ты мастер истязать души...»
(*Берет перо, пишет под диктовку Вурма*): «Милостивый государь, вот уже три несносных дня, как мы не видались...»

Она бросает перо, пораженная догадкой. В ужасе смотрит на Вурма. «К кому письмо?» – шепотом повторяет она.

«К палачу вашего отца...»

Она со стоном падает головой на стол. Через миг выпрямляется. В лице страданье.

Она пишет. Вурм диктует:

«Остерегайтесь майора... который каждый день стережет меня, как Аргус...»

Она вскакивает, как раненая львица. Она бешено кричит:
«Это неслыханное плутовство! К кому письмо?»

Вурм. «К палачу вашего отца!».

Луиза. «Нет!.. Нет!.. Это бесчеловечно...»

«Какой громадный голос в таком хрупком теле!» – думает

Муратов.

После сцены, проведенной полушепотом, этот взрыв страсти производит огромное впечатление. Луиза мечется по комнате, бессвязно жалуясь на судьбу, ломая руки. Вся ее гордая натура прорывается в этом протесте.

«Делайте, что хотите! – бешено кричит она. – Я ни за что не стану писать!...»

Вурм готов уйти. Вдруг силы Луизы падают. Она опять садится. Глаза ее остановились и замерли, устремленные в одну точку. Жизнь точно ушла из лица ее и из голоса.

«Диктуйте дальше», – беззвучно говорит она. И берет перо.

Вурм (диктует). «У нас вчера был в доме президент. Смешно было смотреть, как добрый майор защищал мою честь...»

Луиза (полушепотом, как в бреду). «Прекрасно... Прекрасно... Превосходно... продолжайте...»

Вурм. «Я прибегла к обмороку, чтоб не захохотать...»

Луиза (вздыхнув и перестав писать). «О, небо!...»

Сжав брови, стиснув губы, закрыв глаза – олицетворенное страдание, – она недвижна одно мгновение. Затем пишет опять:

Вурм. «Но мне становится уже несносно притворяться. Как бы я рада была отделаться...»

Она вдруг встает, бледная, жуткая, полная угрозы и ненависти... «Никогда!.. Ни за что!...» – говорят ее сверкающие

расширенные глаза, вся ее поза... Вурм молча исподлобья глядит на нее. Схватившись за виски, она убегает в другой конец сцены... Потом начинает блуждать по комнате, озираясь, словно чего-то ища на полу, растерзанная, беспомощная, точно человек, потерявший дорогу. Жизнь и мысль уходят из ее лица.

Стоя вдали от Вурма, с пером в руках, она поднимает, наконец, голову. Пристально глядят они друг на друга. У нее пустой, померкший взгляд. Весь театр замер, следя за мимикой Луизы... Медленно, шаг за шагом, безвольная, как лунатик, не отводя глаз от пронизывающего взора Вурма, проходит она через всю сцену. Покорно садится и пишет.

Толпа вздохнула как один человек. И опять тишина.

«От него отделаться» – беззвучно, автоматически повторяет Луиза.

Вурм. «Завтра он на службе. Наблюдайте, когда он уйдет от меня, и приходите по уговору... Есть «по уговору»?»

Луиза (беззвучно). «Все есть».

Вурм. «По уговору к любящей вас Луизе».

Луиза. «Недостает только адреса».

Вурм. «Господину гофмаршалу фон Кальбу».

Луиза (полушепотом, но со страстной скорбью). «Боже всемогущий! Это имя так же чуждо моему слуху, как чужды сердцу моему эти постыдные строки!...»

Она долго большими глазами глядит на эти строки, смертный приговор ее счастью. Это опять лицо трагической ар-

тистки. Поразительно просто говорит она Вурму, отдавая письмо:

«Возьмите, сударь! Свое честное имя, Фердинанда, все блаженство жизни моей отдаю я в ваши руки. Я нищая...»

И голоса Нероновой, и лица ее не забыл никто из зрителей даже через много лет.

И вновь, вновь в последний момент, когда Вурм галантно просит руки Луизы, в ней вспыхивают ее ненависть, ее протест, ее отчаяние. Как львица, пойманная в клетку, с пылающими глазами она кричит ему в лицо:

«Да я удавила бы тебя в первую брачную ночь и с радостью отдала бы палачу свое тело!...»

Это лучшая сцена во всей трагедии. Дебютантке поднесли цветы от Муратова, два венка – от губернаторши и полицмейстера. Ее вызывали пять раз... Неслыханное дело... Антракт затянулся на двадцать минут из-за этой овации.

Всех интересует объяснение двух соперниц в четвертом акте. И надо отдать должное Раевской. Она великолепна в *леди Мильфорд*. Как надменна и язвительна гордая леди, страдающая от ревности к мещаночке! Как естественно, пораженная сдержанностью и скорбной иронией Луизы, теряет она постепенно свой тон и мечется, переходя от насмешки к удивлению и ласке, от угрозы к мольбе... Пронзительно, не спуская глаз, глядит на нее Луиза... Ироническая улыбка скользит и гаснет на ее бледном, осунувшемся лице. Она точно выросла на голову. Пусть эта женщина знатна и пре-

красна! Не ее все-таки любит Фердинанд... И стоит Луизе сказать одно слово, и возлюбленный вновь будет у ее ног. А эта блестящая женщина будет унижена... Это торжествующее чувство прорывается в интонациях Луизы. Их разговор – это искусный поединок, в котором перевес на стороне скромной мещанки. Ведь после всего пережитого ей уже ничто не страшно, даже смерть.

И наступает, наконец, момент, когда Луиза выбивает шпагу из рук врага. Это тот миг, когда она стремительно подходит к смущенной англичанке, берет ее за руку и смотрит ей в глаза пронзительно, испытующе... словно хочет заглянуть в тайники души ее.

«Счастливы ли вы сами, миледи?...» – спрашивает она тем полусшепотом, который действует на нервы сильнее всякого крика. И мгновенно спадает «шелуха сословий»... И друг перед другом стоят две страдающие, две любящие женщины. Обе несчастные. Обе не видящие цели в жизни вне своей любви. И с отчаянием борются они за свое счастье... Леди молит, угрожает, кричит, унижается, предлагает свои бриллианты Луизе за свободу Фердинанда, за отказ от его любви... Луиза запрещает ей венчаться с Фердинандом. Обаяние этой женщины страшит ее. Кто устоит против такого соблазна? И отчаяние внушает ей ее страстные, трогательные угрозы:

«Миледи! До слуха Всевышнего доходит и последний вздох раздавленного червя... Теперь он ваш, миледи... Возь-

мите его себе! Бегите в его объятия... Влеките его к алтарю... Но помните, что между вашими устами в свадебном поцелуе встанет призрак самоубийцы... Бог смилуется надо мною!.. Мне нечем больше помочь себе...»

Она убегает под единодушные рукоплескания. Впечатление от сцены тем большее, что все реплики и монологи она ведет в полутонах, ни разу не возвышая голоса, меж тем как леди Мильфорд кричит, забывшись, и топает ногами. А последние слова Луиза произносит, задыхаясь, теряя силы, каким-то хриплым полупшепотом. И это самый жуткий, самый верный эффект.

Взявшись за руки, они обе теперь выходят на вызовы. Равеской тоже подносят цветы от Муратова. Клака свирепствует, вызывая премьершу. Но публика опять чествует свою любимицу-дебютантку, и отдельные робкие шиканья тонут в единодушном взрыве восторга.

Когда Луиза умирает, отравленная Фердинандом, убежденным в ее измене, лицо дебютантки внезапно озаряется, словно зажегся в этом хрупком теле какой-то таинственный внутренний свет. «Неужели не обман зрения?» – думает Муратов, протирая стекла бинокля. Оцепеневшая публика ни одним звуком не прерывает хода действия. И только когда занавес опущен, начинается бурная овация.

Наконец одна... Она падает в уборной на стул, бледная, без сил, с холодным потом на лбу.

– Выпейте водицы, сударыня, – говорит кто-то.

Она открывает глаза.

Доброе изнуренное лицо портнихи кротко улыбается ей. Зубы ее стучат о стекло. Вода плеснула на колени. Боже, Боже!.. Давно ли и она так же стояла перед актрисами, смиренная, жалкая, безвестная?.. Обхватив шею сконфуженной женщины, она рыдает на ее плече... Победа!.. Победа!.. Жизнь завоевана.

Антрепренер не дает ей уйти из театра. Он входит в уборную, согнув руку калачиком.

– Пожалуйста, ангел мой, в кабинет на минутку... Вас там, на улице, целая толпа ждет... На этот раз не улепетните... Сам вас в карету посажу...

Она проходит, как сквозь строй, мимо враждебных, ошеломленных ее успехом товарищей. Муратов и режиссер встречают ее у дверей. И оба целуют руки.

– Благодарю вас, – шепчет Муратов. Взгляд его досказывает остальное. Он красен, взволнован. Глаза блестят, как у пьяного.

– Мы оба в вас первые поверили. А теперь торжествуем не только за вас, но и за себя, – говорит режиссер.

– Браво!.. Браво!.. – нервно смеется Муратов.

– Что это такое? – упавшим голосом спрашивает Надежда Васильевна, когда антрепренер кладет перед нею исписанный лист бумаги и протягивает ей гусиное перо.

– Ничего страшного, ангел мой... Контракт на два года... Не хочу, чтоб у меня эдакий клад с руками вырвали... А жа-

лованье вам кладу полтора ста в месяц...

– И бенефис, – подсказывает режиссер.

Антрепренер одну секунду колеблется, чешет в затылке, затем вписывает между строк: «И бенефис»...

– Bravo!.. Bravo!.. – смеется Муратов и ерошит волосы.

Полтора ста рублей... Высший оклад для провинциальной артистки... Целое состояние... Руки Надежды Васильевны дрожат, пока она вкривь и вкось каракулями подписывает свое имя.

– А вот и копия-с, ангел мой... Не потеряйте... Тут есть неустойка в пятьсот рублей, коли мы друг друга обманем... Ну да ведь я-то не дурак, чтоб свое счастье упустить...

– Bravo!.. Bravo!.. – истерически смеется Муратов. Он совсем не владеет собой.

Надежда Васильевна встает, оглядывается на пороге. Видит облезлые стены, ободранное кресло... Ей вспоминается день, когда она сидела здесь просительницей, как милостыни ждавшей дебюта...

Спазм опять стискивает ей горло. Опустив голову, все еще как во сне, она идет к подъезду.

Кто-то ведет ее под руку, тяжело дыша. Ах, это Муратов, ее первый поклонник и друг, вливший столько мужества в ее сердце... Как хорошо! Она не одна в мире. Есть люди, которые «жалеют» ее...

Антрепренер догоняет их на крыльце.

– Bravo, bravo, Неронова! – иступленно кричат студен-

ты.

Она озирается, растерянная, оглушенная, но счастливая.

Муратов почтительно отступает. Она в толпе... Юные возбужденные лица мелькают перед нею. Восторженные улыбки. Горячие глаза... За что? За что эта любовь?.. Что она сделала, чтоб купить эти сердца?

Она оглядывается. Перед нею Хованский. Смотрит на нее в упор. Что-то шепчет, наклонясь к плечу ее. Боже мой! Что ему нужно от нее? Она ничего не понимает. Но сердце тревожно бьется... Он предлагает ей руку. Она покоряется бессознательно.

Подходит Муратов. Что-то говорит, горячими глазами впиваясь в ее лицо. Отчего он так побледнел?

– Браво, браво, Неронова-а-а...

И в коротенькое мгновение сравнительной тишины Надежда Васильевна слышит, как князь, надменно улыбаясь и крепко придерживая под распахнувшейся шинелью ее руку своею рукой в белой замшевой перчатке, говорит отчетливо Муратову:

– Cher Глеб Михайлович... Mademoiselle Неронова сама разрешила мне довести ее нынче до дому... Вы опоздали.

Что он говорит?.. Когда это было?.. Она смотрит в голубые глаза Хованского. Эти глаза молят, приказывают. Она опускает ресницы.

Перед ними расступаются. Дверца кареты захлопнулась.

– Постойте, постойте!... А цветы? А венки? – кричит ан-

трепренер.

– Оставьте, – перебивает Муратов, до боли стиснув ему руку. – Пошлите их завтра в моем экипаже... Не надо... не надо утомлять ее...

Шатаясь, вытирая надушенным платком выступивший на лбу пот, тяжело дыша, он идет к своей коляске.

О, старость...

Карета Хованского медленно двигается среди толпы. Стекло спущено. Мелькнули рядом взволнованные лица. Студенты что-то кричат. Веют платки. Лакей в ливрее вско-чил на козлы. Рысаки помчались.

В тесном ящике кареты они вдвоем. Как это случилось?.. Пока они едут по главным улицам, озаренным масляными фонарями, Надежда Васильевна смутно видит бледный, точно точеный профиль Хованского. Она съежилась в углу. Боится его прикосновения. Страстно ждет его слов...

Вот он повернулся к ней. Ищет ее руку. Берет и целует. Боже мой!.. Она вся дрожит, как в ознобе.

– Где я могу вас встретить? – полушепотом спрашивает он, точно сквозь стиснутые зубы. – Я должен вас видеть как можно скорее... Не могу ли я приехать к вам?

– Нет!.. Нет!.. – с отчаянием срывается у нее.

– Не придете ли вы завтра в три на бульвар?

Она вдруг вспоминает о своей старомодной тальме.

– Нет... Я не приду... Мне некогда завтра.

– В таком случае вечером приезжайте в собрание! Будет

маскарад... О, не отказывайте мне!.. Дайте слово... Дайте мне надежду...

О чем просит он ее этим мягким, вкрадчивым голосом?.. Разве есть у нее воля?.. Разве можно ему в чем-нибудь отказать?

Она молчит, смятенная, пронзенная страстью, всплывшей из неведомых глубин.

Его рука словно нечаянно коснулась ее колена, и она вся задрожала, вся ослабла мгновенно. Закрыла глаза... Он говорит что-то... Ах, если б всю жизнь ехать так, рядом с ним, и слушать его голос!

Свет померк. Карета закачалась и медленно поплыла в темноте по глубокой грязи предместья. Сейчас конец... конец счастью... Он только случайный спутник ее. Сейчас они расстанутся. И каждый уйдет в свой мир. И эти миры будут катиться по разным орбитам, без встреч, без столкновений...

Он наклоняется и целует ее руку. Еще... еще... Его сухие, горячие губы словно обжигают кожу. Слабый стон срывается с ее губ... Он обнимает ее трепещущие плечи. Она глухо вскрикивает и прячет лицо в руках. Он не может разнять эти руки. Карета точно кружится на месте...

– Ради Бога... пустите! – срывается у нее, когда ему удастся поцеловать горячий край ее щеки.

Лакей стоит у отворенной дверцы. На руках почти выносит Хованский Надежду Васильевну и ставит ее на крыльцо.

Предместье спит.

– Завтра вечером я буду у вас, – слышит Надежда Васильевна его шепот. И у нее не хватает духу ответить: «нет!...»

Она долго не спит. Сладкая истома сменила ее тревогу. Неужели он любит?.. Как может он любить ее? За что?.. Разве они пара?.. Нет... Нет!.. Но он целовал ее... Разве может князь Хованский издеваться над беззащитной, одинокой девушкой?.. Он, наверно, благородный, лучший из людей... Он не такой, как Садовников и актеры... как старик Парамонов и все, травившие ее с детства, оскорблявшие ее девичий стыд...

Что скажет он ей завтра?.. Завтра...

Она блаженно закрывает глаза. И вдруг в памяти всплывают слова Луизы: «О, если бы этот цвет моей молодости был простой фиалкой... И он не мог бы наступить на него... И я могла бы смиренно умереть под его ногой...»

Охватив горячими руками подушку, она плачет.

«Дорогой дедушка, кланяюсь вам низко и целую. И братцу тоже кланяюсь низко и целую. И сестрицу тоже целую.

Сейчас вернулась из церкви, где отслужила благодарственный молебен Заступнице. Жизнь моя теперь вся решилась. Остаюсь в Харькове служить на два года, а деньги мне будут платить полтора ста рублей в месяц. Как только станет зима и первопутник, я вам вышлю деньги на дорогу. Хочу, чтобы вы все жили со мною. Отпишите мне, как ваше здо-

ровье теперь, и берегите его, дедушка миленький. Прилежно ли Васенька учится счету? Не запьянствовал ли дьячок? Я ему еще набавлю за Настеньку. Пусть и ее обучит грамоте! Без нее трудно в люди выйти. Да еще купите себе новые валенки, а Васе и Настеньке полушубки. Дорога сюда длинная, не захворать бы в пути. Напишу потом подробно, как ехать, где ночевать, сколько на водку давать ямщикам.

А пока Господь со всеми вами! Да хранит вас всех Заступница. А вы за меня помолитесь, дедушка».

В тот же день она писала в Москву своей благотельнице письмо, как и это — полное орфографических ошибок. Но в нем вылилась вся ее благодарная душа. Некоторые буквы расплылись от слез.

...Хованский слегка волнуется, когда едет к Нероновой на чашку чая.

Он решил вести атаку стремительно. Там, где замешан такой богач и опытный донжуан, как Муратов, медлить глупо. Женщины, особенно актрисы, все продажны. А эта Неронова с ее смуглым лицом и экзотическими глазами будит его притупленные желания. Она непосредственна. У нее, наверное, темперамент. «У нее такие трепетные, нервные ноздри. Точно у арабской лошади. И удивительная ножка...»

Робея, почти страдая от робости, встречает его Надежда Васильевна... Она видит его быстрый, но выразительный

взгляд, которым он окинул, войдя, номер, всю ее обстановку, эти ободранные стены. И ей мучительно больно... Вот теперь он будет презирать ее... Он не придет в другой раз... Ах, зачем она согласилась его принять!.. Но ей слишком хотелось его видеть...

Дрожащими руками она протягивает ему чашку, и опять замечает его беглую усмешку... Да, эта чашка ужасна... Вращаясь в доме Репиной, за последние два года она узнала цену художественной обстановки, изящных вещей. Но ведь у нее нет своего сервиза. Ничего нет своего, кроме этого маленького сундучка в углу.

Как жалкая нищенка смотрит она на этого юного «принца». Таких в жизни она еще не встречала. Только в царстве вымысла она жила рядом с такими избранниками. Сама принцесса любила их и слушала их признания. И не ей – бедной мещаночке, не знающей по-французски, пишущей каракулями, – достанется любовь этого изящного породистого человека... Как сон, мелькнет он в ее жизни. Но этот сон она не забудет.

Он осторожно выпрашивает ее о семье. Как? Она здесь одна?.. Без покровителя?..

– Неужели у такой красивой женщины нет поклонников? Его улыбка холодна, а взгляд хищен.

– У меня никогда не было поклонников. И покровителей не было... Я всем обязана Репиной.

Но Репина его ничуть не интересуется.

– Вы хотите сказать, что никто не сопровождал вас сюда из Москвы?.. Что никто не ждет вас? – дрогнувшим от желания голосом настаивает он.

– Меня ждет дедушка... Да еще братец с сестрицей...

– Это невероятно! – срывается у него. И худые скулы его краснеют.

Просто, искренне, доверчиво она рассказывает ему об этих двух годах нужды, труда, борьбы с семьей, мечтах о сцене.

Но он не слушает. Он смотрит на ее чувственные, тонко изогнутые губы, на нервно вздрагивающие ноздри, на искрящиеся глаза...

«Очаровательная из нее выйдет любовница... И какая кожа... Какие зубы!..»

Вдруг странные звуки врываются в комнату. Он прислушивается, оглядывается. Храпит сосед за тонкой стеной. Неронова сконфужена... Глазами она молит у «принца» прощения за эту прозу жизни...

– Тут тоже живут? – небрежно спрашивает он, кивнув на другую стену.

– Да... помещица...

«Здесь нельзя: какая досада!» – думает он, кусая губы и не слушая, что она говорит.

Не дав ей закончить фразы, он внезапно овладевает ее руками и притягивает к себе.

Она ахнула, пошатнулась, делает попытку вырваться. Но

он ее не выпускает. Его уста шепчут бессвязные, но, в сущности, заученные слова любви.

Она слушает скорее с ужасом, чем с радостью.

– Вы смеетесь надо мною?

– Но почему же? – спрашивает он, целуя ее щеку. Она не хочет дать ему своих губ.

– Полноте!.. Вы и я... Какая же мы пара?

– Но почему же? – повторяет он, силясь повернуть к себе ее лицо.

– Ради Бога, пустите... Оставьте!.. Я так... так хорошо о вас думала... Вы такой... особенный...

– Но почему же? – нелепо твердит он, ничего не сознавая, ничего не видя, кроме ее изогнутых и манящих губ. И собственный взгляд его туп и жесток, как взгляд разъяренного самца.

Наконец... Его поцелуй хищен. Нет в нем нежности...

Она вырвалась, упала на стул и плачет. Он потерял уже власть над собою. Но она протестует. Она не дает до себя дотронуться. Она умоляет его уйти.

– Почему же?... Разве я вам так противен?

– Ах, нет... Ах, что вы? Вы такой... необыкновенный, – плачущим голосом отвечает она.

– Вы не верите моей любви?

– Нет, конечно... Как можете вы любить меня?... Вы смеетесь...

Он нетерпеливо пожимает плечами. Она глупее, чем он ее

считал. Что за романтизм? Да еще у актрисы!.. Настоящая провинциалка... «Любить!» Конечно, о любви тут нет речи. Но кто гонится за словом?

Храп за стеной, достигнув высочайших нот и какого-то звериного, страстного напряжения, вдруг обрывается. Наступает мгновенная тишина. Затем раздается сознательный кашель проснувшегося человека.

«Пора уйти! – думает Хованский. – Какая досада!..» Но приключение начинает его захватывать. Если она, действительно, не ломается и не переоценивает себя, то ее наивность восхитительна. Это невинная девушка... Возможно ли?..

И вновь разгораясь, он умоляет ее завтра вечером разрешить ему проводить ее из театра.

Он уходит, наконец. Она слушает у окна чмоканье копыт по грязи.

В комнате остался сладкий запах его духов. Этот аромат говорит ей о другой, неведомой ей жизни, куда она никогда не войдет, как равная ему, этому белокурому принцу...

И опять звучат слова Луизы: «Но когда рухнут грани различий... Когда с нас слетит ненавистная шелуха состояний... Когда люди будут только людьми... Там я буду богата... Там я буду знатна...»

Она рыдает, пряча лицо в подушку.

Ни минуты ей не приходит в голову, что талант высоко поднял ее над жизнью, где господствуют Хованские.

Уже сереет рассвет, а она все без сна мечется на посте-

ли... Он целовал ее... Но не это волнует ее и обессиливает. Не раз за эти годы ее целовали грубо, силком, возбуждая в ней только протест и отвращение. Один Садовников... Нет, нет!.. Здесь не то... Как это ни странно, но чувственность ее дремлет. Желания ее спят. Этот человек слишком высок, слишком недосыгаем для нее. Ему можно только поклоняться. Так, именно так любит Луиза Миллер Фердинанда фон Вальтера. Луиза тоже дает целовать себя, оставаясь невинной. И если Хованский завтра опять потребует поцелуев, найдется ли у нее сила отказать ему?.. «Нет, нет!..» – с тоской и восторгом думает она... Но ведь это грех так любить... Да... конечно... Но Бог простит ее... И *он* сам благодороден. Он не потянет ее к соблазну. Он поймет ее страх. Его тронет ее чистота... Зачем она ему?

Умиленная, умиротворенная, она дремлет... И всплывают перед нею трогательные слова Луизы: «Ах, я не плачусь на судьбу... Я хочу только немного думать о нем... Я отказываюсь от него в этой жизни...»

Она уже спит. А светлые, счастливые слезы все еще дрожат на ее ресницах и скатываются на подушки...

Надежда Васильевна решила каждый вечер быть в театре. И не только потому, что это единственный интерес ее жизни. Она хочет быстрее освоиться в этой среде, ознакомиться с репертуаром и с дарованиями ее товарищей.

На сцене идет *Велизарий* – драма, переведенная с немец-

кого Ободовским.

Пьеса эффектна. Надежда Васильевна не может удержаться слез, хотя Лирский-Велизариий воет в патетических местах, а актриса, играющая мстительную жену его Антонину, очень ходульна в последней сцене безумия. Роль дочери трогательна. Раевская нашла для нее жизненные интонации, трепетные звуки, правдивую мимику... Ее единодушно вызывают.

Потом идет водевиль Коровкина *Новички в любви*. Струйская очаровательна в роли шестнадцатилетней девочки. Но лицо Муратова холодно. Он не послал ей ни одной улыбки.

Хованский нервничает. Он чувствует на себе зоркий, тяжелый взгляд Муратова. Вообще они следят друг за другом. Как только один поднимается с места, встает и другой. Они рядом в фойе, рядом в буфете. Вместе входят они в ложу, где сидит Надежда Васильевна.

Никто из них не уходит в последнем антракте. Это два охотника, выслеживающие лисицу. Антрепренер хихикает и потирает руки. Надежда Васильевна так наивна, что не замечает тактики двух соперников. С удовольствием слушает она Муратова. Тот возмущается пьесой. Разве нет у нас Гоголя? Его *Тяжбы, Игроков, Ревизора?*.. Разве нет у нас Мольера? Как обидно за публику, за это студенчество, которое рвется в театр, а ему вместо хлеба дают камень!..

Спектакль кончен. Надежда Васильевна выходит из ложи. Хованский ждет ее у лестницы, уже в шинели.

– Не позволите ли вы мне проводить вас, уважаемая На-

дежда Васильевна? – спрашивает Муратов.

Она краснеет. Она растерялась. Хованский подходит, бледный от злобы.

– Надежда Васильевна... Я вас жду, – тихо, но значительно говорит он...

– А!.. – коротко срывается у Муратова. – Прошу извинения...

Как долго помнила Надежда Васильевна это выразительное «А!..» Она смущена, взволнована. Ей жаль Муратова.

– Он хочет вас купить, – резко, неожиданно для самого себя говорит Хованский, когда захлопнулась за ними дверца кареты.

– Что?.. Что такое?

– Я говорю, что Муратов хочет вас купить. Он так богат...

– Боже мой!.. Но разве я крепостная, чтоб меня можно было купить?..

Даже губы ее дрожат от обиды.

– Он вам не нравится?.. Он имеет большой успех.

– Мне никто не нравится! – гневно срывается у нее.

– Даже я? – вкрадчиво спрашивает он и обнимает ее.

Но она отворачивается. В сердце жгучая боль. Она так гордилась уважением своего единственного «друга»...

– О чем вы плачете? – удивляется Хованский.

– Это пройдет... простите... Не говорите мне только ничего о Муратове.

Карета останавливается.

– Что это такое? – спрашивает она, не узнавая местности. – Где мы?..

– Я прошу вас ко мне, на чашку чая...

– Нет... нет... ради Бога!.. Прикажите ехать домой...

Но за стеклом уже стоит высокая фигура лакея.

– Выходите, – стиснув зубы, говорит Хованский, когда дверца отперта. И он выскакивает из экипажа.

Боясь скандала, боясь насмешки лакея, поборов свою дрожь и возмущение, она покорно выходит. Опираясь на руку Хованского, она поднимается по освещенной лестнице в его кабинет;

Нет... Чего ей бояться?.. Князь Хованский не может быть низким, развратным, ничтожным. Он не оскорбит ее. Не будет играть ее чувством.

Всюду ковры, коллекция дорогих трубок и драгоценного оружия, неподдельная красного дерева мебель empire. Удушливо пахнет табаком и духами.

– Садитесь... вы моя гостя, – говорит он и звонит в колокольчик.

– Подайте чаю, вина, фрукты, конфеты...

Она прихлебывает чай из тонкой прозрачной чашечки. Но от вина отказывается. Хованский пьет, и лицо его краснеет. Вдруг он встает и запирает дверь на ключ.

Когда он подходит к Надежде Васильевне, она видит его тупой, воспаленный взгляд. Как изменилось его лицо!.. Ей страшно.

Она невольно встает. Но он грубо хватает ее в объятия.

– Оставьте... Пустите... или я закричу! – гневно говорит она.

– Не надо ломаться, – сквозь зубы отвечает он. – Если я вам нравлюсь, зачем вы меня мучите?

– Но я не хочу этого... Я ничего не хочу! – с отчаянием кричит она. – Вы меня обманули... Зачем вы привезли меня сюда?... Ах... от вас я этого не ждала...

С неожиданной силой она вырывается из его рук и отбегает. Теперь между ними тяжелый стол.

Другая заплакала бы. Но она слишком возмущена. Ее глаза пылают от гнева. Ноздри раздуваются.

– Что же вам надо? – спрашивает он, взбешенный, совсем теряя над собой власть. – Вы не девочка. Вы сами понимаете, что жениться на вас я не могу... Чего вы ждете?

– Любви! – срывается у нее страстный крик. – Только любви...

Он молчит одно мгновение. Как он ни зол, но ему хочется рассмеяться.

– Разве я не люблю вас?

– Полноте!.. Какая это любовь? Я с двенадцати лет слышу об этом... Оказывается, и здесь все то же... Ах, зачем я в вас поверила! Выпустите меня!.. Слышите? – она топает ногой. – Отворите сейчас дверь!.. Я ни минуты не останусь у вас...

«Неужели ошибся?»

Он теряется. Он становится на колени, целует ей руки,

клянется в любви. Но она непреклонна. Слова эти не доходят до ее сознания. Слишком болит душа. Она вся разбита. Она упала сейчас с такой высоты...

Когда карета Хованского останавливается у постоянного двора Хромова, Неронова выходит, шатаясь, бледная, убитая своим первым разочарованием.

Хованский влюблен. Внезапный отпор его грубым желаниям, чистота и гордость Надежды Васильевны – все это ошеломило его, выбило из колеи. В театре, за кулисами, на улице – он всегда попадает ей на глаза. Теперь уже – корректный, покорный, тоскующий.

Она волнуется, но избегает его. Избегает и Муратова. Она никому уже не может верить.

Хованский пишет ей страстные признания. Она читает их, заливаясь слезами. Она целует их, заучивает наизусть, прячет на дно шкатулки... Она борется с собой.

Ей нетрудно было устоять против наглости Хованского. Но как устоять против жалости к нему? А он тоскует, страдает. Он так похудел... Она слишком чутка, чтобы не верить его искренности теперь... И почва ускользает у нее из-под ног. Она плохо спит. Она пожелтела. Нервы ее разбиты. Она плачет от каждого пустяка. О, как мало счастья в любви и как много страданий! Теперь эта истина ясна ей как день...

Только репетиции и спектакли дают ей забвение и радость. И как страстно рвется она в этот чудный мир вымыс-

ла, перед которым бледнеет жизнь!

Но остаются ночи – и мучительные думы. От уверенности в его чувстве она переходит к сомнениям. Как мог он избрать ее из тысячи других, ему равных? Как мог на ней, ничтожной, остановить свое внимание? Для нее – хоть и развратный, хоть и жестокий – он все-таки остается высшим существом. Его хрупкая красота, его знатность дают ему на это право.

Но если он любит ее, то она пропала... Если бы дедушка был тут, она нашла бы силы бороться с соблазном. А где взять силы теперь?.. Встреча с Хованским – это крушение всего ее душевного строя. Чего он хочет теперь от нее, она знает прекрасно. Его любовь – это гибель ее. Но она сама жаждет погибнуть. Ее любовь – это грех. Но ни за какие блага земные и небесные она не откажется от этого греха!.. Она плачет и молится... «Господи, спаси меня!.. От самой меня спаси и сохрани... Не его боюсь... Себя...»

Темная чувственность, налетавшая на нее когда-то порывами от дерзких ласк Садовникова, проснулась теперь, воспрянула, страшная, грозная, властная. Куда уйти от нее?..

И опять, опять звучат в душе ее слова Луизы Миллер, когда от ласк Фердинанда в ней тоже проснулась женщина, и когда эта страсть убила светлую любовь, дававшую ей только радость. И ей тоже хочется крикнуть в бледное лицо Хованского, который каждый вечер ждет ее у подъезда и смотрит умоляющими глазами:

«Бог тебя прости!.. Ты зажег пожар в моем мирном сердце. И этому пожару – никогда-никогда не угаснуть!..»

Хованский подходит к ней за кулисами. У него совсем больной вид. Он кашляет. И ей вспоминается злобная фраза, брошенная вчера Струйской... «Противная гримасница!.. Чего она ломается! Хочет князя в чахотку вогнать...» Струйская очень хлопочет, чтоб они «сошлись» наконец. Тогда ей нечего бояться за своего Муратова. Но и с Муратовым эта гордячка держит себя королевой. Перестала с ним говорить. «А старый дурак совсем ослаб», – с презрением думает Струйская.

– Вы простудились? – спрашивает Надежда Васильевна, подходя к Хованскому. Она берет его руку. Такую сухую и горячую руку. Из ее расширенных глаз глядит на него вся ее страстная душа.

Он очень рад случаю порисоваться своей болезнью и небрежно отвечает хриплым, действительно больным голосом:

– Я давно кашляю... Ведь мне грозит чахотка. Но я жизнью не дорожу. Зачем она мне теперь, если вы меня не любите?!

Она кидает ему взгляд, полный отчаяния, и бежит в уборную переодеваться. Все валится у нее из рук. Душа полна ужасом. Она чувствует, что пропала, что решила ее судьба. Но не о своей гибели думает она. Сохранить его жизнь. Дать ему счастье, если в этом его спасение...

Хованский чувствует, что ход его был верен.

По окончании спектакля он стоит внизу, у подъезда, как все эти две недели. Но Надежда Васильевна на этот раз не проходит мимо, избегая глядеть на него... Она сама подходит, смотрит в его глаза. И сколько беззаветной любви в этом взгляде! Даже черствое сердце Хованского дрогнуло.

Ни словом не обмениваются они. Он подает ей руку Она покорно идет за ним и садится в его карету. Она не видит, что Раевская, Струйская, Лирский и другие артисты, улыбаясь, следят за ней из сеней.

Муратов показывается на лестнице под руку с режиссером. Они задержались, вместе составляя репертуар будущей недели.

Струйская громко, зло хохочет.

– Чему вы рады? – спрашивает режиссер.

– Я за Хованского рада... Наконец-то наша королева со-
благоволила ответить на его любовь!.. С ним вместе в его карете уехала...

Ночь холодна, и Хованский опять кашляет. Свет уличных фонарей озаряет его тонкое, как у девушки, нежное лицо, с выступившими от худобы скулами.

Надежда Васильевна вздрогнула невольно. Какой зло-
вещий, сухой кашель! Ей вспомнилась покойница мать... Неужели это возможно? Она берет его руки и держит их у своей груди.

– Нет, вы не заболете... Вы должны жить... Если вы...
Нет, я не переживу этого... Я умру сама...

Этот голос пронзает сердце Хованского.

– Так вы меня любите?.. Вы прощаете меня?

Обвив руками его голову, она плачет на его груди.

– Надя... милая, милая Надя... Вы поедете сейчас ко мне?.. Да?.. Да?.. Я так исстрадался... Я болен от любви к вам... В вашей власти меня вылечить... сделать меня счастливым...

Он звонит. Карета останавливается. Лакей отворяет дверь.

– Ко мне домой, – отрывисто говорит Хованский.

Струя холода ворвалась в тесный ящик экипажа.

И князь кашляет опять... Жалость и ужас побеждают последний протест в ее душе. Она дает себя обнять целовать. Ее не пугают теперь его ласки. Так надо... Так надо... Она не возмущается. Она не пробует бороться. «Я пропала...» – думает она, неподвижная, безвольная под его поцелуями. Но в этом сознании нет мощной радости. Скорее скорбь. Скорее покорность перед неизбежной судьбой.

Получив свой первый «гонорарий», Надежда Васильевна переехала из номеров на собственную квартиру. Купец Хромов по этому случаю отслужил благодарственный молебен. Он даже заболел от частых визитов полицмейстера и от его «разгонов».

Каждый вечер теперь с видом властелина Хованский ждет Надежду Васильевну за кулисами и везет ее к себе. Принять его у себя на квартире она не соглашается. Здесь будут жить дедушка, Вася, Настенька. Эти стены не должны видеть ее греха. И перед Полькой, девкой шестнадцати лет, которую она наняла одной прислугой, ей не хочется опускать глаз. Сохрани Бог, если дедушка узнает об ее связи! Это убьет его.

Забыты целомудренные мечты о браке и семье. У ее любви нет *завтра*. Она это знает. Хованский не скрывает, что весной вернется в Петербург. Он ничего не обещает ей. Что до того?.. «Хоть час, да мой!.. – говорит она себе. – А там – будь что будет!..» Она нашла своего господина. Это ее судьба. От судьбы не уйдешь. Она не мучится, не раскаивается... Она счастлива...

Она узнала радость любить самой, заботиться о любимом существе, таком хрупком, слабом; подавлять собственные порывы, чтобы не вредить его здоровью. Она узнала радость умиления и жертвы. Всеобъемлющее, самодовлеющее чувство, в котором так много материнского, дает ей огромное удовлетворение... Она не любила бы Хованского так беззаветно, если б он был здоров и силен, как Садовников... О, радость жертвовать собой, ничего не прося взамен!..

Но вся эта духовная красота непонятна Хованскому. Он любил бы ее сильнее, если б она была кокеткой, если б она дразнила и мучила его... Теперь его привлекает исключительно ее бурный темперамент, который он угадал. Он по-

коряет его сильнее, чем ее прежняя стыдливость и невинность... «Как приятно развращать такую женщину!..» – думает он.

Иногда, вся потрясенная взрывом собственной страсти, она не узнает себя. Очнувшись, она закрывает лицо руками. Она мучительно краснеет от воспоминаний. Где ее девичий стыд?.. Где ее честь? Все сгорело в этой безумной, в этой единственной любви. Точно сорвались с цепи и овладели ею те смутные, темные силы, которые дремали в ее душе, которых она так боялась...

«Очаровательная любовница!.. – говорит о ней Хованский в кругу своих друзей. – Целомудренная, застенчивая. И в то же время страстная, как испанка...» Но при Муратове он осторожен. Он афиширует свою связь с артисткой, появляясь с нею в маскараде, на гулянье, всегда провожая ее из театра. Но он чувствует, что интерес Муратова к Надежде Васильевне носит совсем иной характер; что это, пожалуй, та любовь, к которой он сам неспособен, которую он считает каким-то безумием, овладающим людьми. Он чувствует, что, несмотря на свои годы и на свою отдышку, Муратов – романтик. И скажи он при нем что-нибудь оскорбительное или даже легкомысленное про Надежду Васильевну, – дуэли не миновать.

Счастье расцветило талант Нероновой яркими красками. Оно дало ее игре незнакомые, тончайшие нюансы. Оно дало голосу ее новые, трогательные нотки. Муратов это чувству-

ет всеми нервами... «Какая очаровательная женщина!...» — думает он, сидя, как всегда, в первом ряду кресел. И сердце его мучительно ноет. Но в этой боли есть какое-то сладострастие. «Я старюсь, — думает он. — Я никогда не испытывал этого раньше. Это страсть старика».

Надежда Васильевна так наивна, что долго верит в тайну своих отношений к Хованскому... Кто-то произнес за кулисами слово «любовник»... Кто-то двусмысленно засмеялся... Она точно проснулась и озирается, смущенная, подавленная... Неужели все знают? Все говорят об этом? Ее святыня вынесена на улицу, втоптана в грязь...

Она в отчаянии. Хованский обижен.

— Значит, ты стыдишься нашей любви?

— Не то, Андрюша... Не то... Неужели тебе самому не обидно?.. Это все равно, если б кто вошел в эту комнату и плюнул на образ, которому я молюсь...

Нет. Он не понимает ее. Ему так приятно иметь любовницей знаменитость, чье имя на всех устах. Она тоже не понимает его. Любовь ослепила ее. Она бессильна разглядеть его ничтожную, тщеславную душу. Вся назревающая уже драма Надежды Васильевны заключается в том, что она для него один из бесчисленных любовных эпизодов. А он для нее первая, единственная, незабываемая любовь.

Она никогда не упрекает его. Никогда не спорит с ним. Гордая по натуре, она подчинилась ему с какой-то сладострастной готовностью. Она походит на человека, который

видит прекрасный сон. И во сне же с болью чувствует, что сейчас проснется...

И она уже проснулась...

Приезд ее семьи был первым толчком, нарушившим безумно прекрасный сон ее души.

Это случилось в начале декабря, под Николин день.

Надежда Васильевна только что вернулась от всенощной. Она в первый раз пригласила князя к себе закусить и выпить чаю. Самовар кипел на столе. Тут же красовались жареный гусь, наливка, домашнее печенье. Надежда Васильевна положительно обладала кулинарным талантом и сама отлично вела свое несложное хозяйство. Чайный сервиз был скромный, но изящный. Надежда Васильевна удивительно быстро воспринимала все культурные навыки, и полтора года жизни близ Репиной сделали из нее барышню... Раскрасневшаяся, счастливая, с умиленным блеском влажных глаз, она усердно угощала Хованского. Развалясь в кресле, он курил длинную трубку. Надежда Васильевна купила ее нарочно для этого случая. Все волновало ее: как князь найдет ее скромную, но уютную обстановку, лампу, сервировку, ее новое платье?.. Он снисходительно улыбался, а она краснела, как девочка.

Хитрая, умная Поля таращила глаза на красивого офицера и подслушивала у дверей.

Весь город знал, что это любовник ее барышни, но видела она его в первый раз.

Вдруг послышался глухой шум под окнами. Поля ворва-

лась в комнату.

– Приехали к нам, сударыня... Гости приехали... Старичок седенький...

Надежда Васильевна кинулась в переднюю.

– Дедушка!.. Дедушка! – истерически закричала она, выскакивая на крыльцо. В это мгновение она совсем забыла о князе.

Хованский ничего не имел против того, чтобы прекратить эту идиллию с жареным гусем и домашней наливкой. Его ждали приятели, собравшиеся ехать за город к цыганкам... Он быстро накинул шинель. В передней Надежда Васильевна плакала на груди высокого старика в овчинном полушубке. Какая-то толстая, закутанная девочка, разинув рот, поглядела на офицера. Мальчик в валенках вносил с Полей какие-то кульки. Хованский, не прощаясь с хозяйкой, незаметно скользнул на подъезд. Но старик все-таки приметил его.

– Это кто же будет, Наденька? Жених твой?.. Словно бы не пара...

Хорошо, что в прихожей на полу горела одна оплывающая свечка, и дед не видел краски, залившей все лицо, даже уши и полуоткрытую шею внучки.

– Ах, дедушка! Почему непременно жених?.. Просто знакомый... Ведь меня теперь весь город знает...

Старик вошел в комнату, медленно перекрестился на икону в углу. И вдруг сморщился, закашлялся, плюнул.

– Экая мерзость! Накурено-то как!..

Надежда Васильевна распахнула форточку и унесла трубку в свою спальню.

Два дня мелькнули, как светлый сон, среди радостных хлопот, рассказов, воспоминаний, обмена впечатлениями. Квартира Надежды Васильевны действительно прелестна: с окнами на юг, светлая, веселая, с крохотным садиком, с чистым двором, где уже ходят гуси, цесарки, индюк.

– Я скоро, дедушка, корову куплю. У меня тут коровник. Буду детей молоком отпаивать. Какие они бледные, худенькие, Боже мой!..

Она хватает Васю за лицо, целует его, и слезы бегут из ее глаз.

– Да н-ну, сестрица!.. – смущенно протестует Вася, отвыкший от ее ласки.

Но она уже опять смеется, опять щебечет, показывая дедушке свое хозяйство. Разинув рты, ходят за нею по пятам дети, ничего не выдавшие, кроме подвала. Раем кажется им эта квартира. Сном кажется им будущее, которое сулит сестра.

– О, Господи, Господи, – шепчет дедушка и жует губами, и бороденка его вздрагивает. Дедушка, как старый неудачник, не верит в счастье. Всего боится... Ну, конечно, полтораستا в месяц большие деньги... Да будут ли их платить?... А ну как разорится этот самый... что платит?

– Другой будет платить, дедушка. Театров много... Я не

боюсь...

Дедушка щупает материю штор и обивку дивана, стучит ногтем по дереву, качает головой на буфет и посуду.

– Куда это столько тарелок?

– Гостей принимать, дедушка. В Новый год ко мне полицмейстер приедет с визитом, помещики разные... Всех принять надо, угостить...

– О, Господи!.. Господи...

Больше всего удивляет деда его собственная комната. Она угловая, маленькая, но светлая, уютная. Постель с пуховой периной, двумя подушками и белоснежным кисейным пологом вызывает в старике, привыкшем к нищете, какую-то мистическую тревогу. Он вздыхает и укоризненно качает головой.

– Чем вы недовольны, дедушка? – упавшим голосом спрашивает внучка.

– Это что ж за постель? Господам на ней спать. А нам только помирать на ней впору... в таком почете-то...

– Ах, дедушка, дедушка! Какие вы страсти говорите!

Зато радуется его большой киот с тремя иконами и неугасимой лампадой, да еще маленький кенар в клетке. Как только солнце выглянет из-за угла дома и брызнет своими лучами в окно, жизнерадостная птичка зальется песней. Дедушка слушает ее, закрыв глаза. Губы его жуют, борода вздрагивает.

– Эка веселая птаха!.. Тоже тварь Божья, – умиленно шеп-

чет он. – Создателя славит... По-своему, знать, молится...

У окна стоит вольтеровское глубокое кресло.

– Садитесь, дедушка! Зачем на кончик?.. Поглубже садитесь... А вот вам под ноги скамеечка.

– А ковер зачем?

– Чтобы вы ночью, когда встанете босиком, ног не застудили... Ведь они у вас больные...

Это уж слишком много, даже и для сдержанного старика. Слезы наполняют глубокие морщины его пергаментного лица. Он гладит дрожащей рукой голову внучки.

– Жалеешь ты нас, Наденька... Спасибо тебе... А я уж, признаться, думал, закрутит тебя вертеп этот, разлучит с семьей...

– О, дединька! Как вы могли это думать?

– Эх, Наденька! Жизнь-то не шутка... От своей доли ты отбилась... Вона, какая нарядная стала да красивая... Барыня большая... Полицмейстер, говоришь, к тебе ездит... Франты разные...

Стоя на коленях, она прячет лицо на его груди.

– Ах, дедушка! На что они мне?.. Вы мне всего на свете дороже...

И эти слова не ложь. За радостью свидания она почти забыла о князе. Она не стремится к нему, не тоскует без него. Инстинктивно она счастлива вырваться хоть на время из-под ига этой грешной, тревожной любви.

Дети тоже в восторге. Больше всего их радует свой двор,

свой садик, цесарки, гуси, индюк, цепная собака, кошка на кухне... «Мы, как помещики», – говорит Вася. Он спит рядом с дедушкой, в небольшой столовой. Настенька по-прежнему с сестрой. Это лучшая комната в два окна. Но все они прохладные... Последняя комната – гостиная... Дедушка не подозревает, что его благоразумная Наденька начала свою жизнь с больших долгов. Вся мебель, посуда, белье – куплено ею в кредит. Дедушка ужаснулся бы такой безумной трате денег. Но он не знает света и приличий. Разве может первая артистка труппы жить по-прежнему в номерах Хромова? Дедушка не понимает, что надо нравиться князю. И он не догадывается, какое счастье было готовить изголодавшейся семье это убежище на первые трудовые деньги.

Надежда Васильевна играет *Елену Глинскую* в драме Полевого. В этой роли она очень хороша. Она робко просит деда отпустить с ней детей.

– Аль ты с ума сошла, Надежда? – спрашивает он, укоризненно тряся бороденкой и строго глядя на внуку из-под огромных очков в медной оправе. – Детей малых тащит в омут! Чего там наглядятся?.. На тебя уж я рукой махнул... Бог с тобой!.. Но ребят не трогай!

Надежда Васильевна слушает с поникшей головой, с сердцем полным горечи... Боже мой, чего ей стоило отстоять свое призвание! Чего ей стоило пойти на сцену!.. Дедушка заболел тогда с горя... И целый год тянулась эта борьба

старого мира предрассудков и мещанских традиций с могучим талантом, стремившимся ввысь... И только тогда старый Шубейкин разглядел свою безответную Наденьку. Он понял, сколько энергии и страсти таится под этой покорностью... Он уступил с горечью. Он так мечтал выдать ее за пожилого швейцара богатого дома!

Вышло иначе. Но дедушка не простился со своей мечтой. Он верит, что с Нади сойдет эта блажь и что, поиграв год-два на сцене и натерпевшись обид и мытарств, она вернется к обычной женской доле и примет «честной венец»!.. Надежда Васильевна знает, что все ее триумфы не купят непреклонного сердца старика. Нет цены в его глазах почестям, которые оказывают ей в «вертепе»...

Надежда Васильевна только урывками видит князя после дневных репетиций. Она приходит в ужас от мысли, что случайность или неосторожность могут выдать ее тайну. Разве она не должна оберегать святое неведение Васи и Насти? Разве в глазах деда эта связь – не грех и позор? Она согласна скорее умереть, чем показать дедушке хотя бы уголок личной жизни своей! Его, несомненно, убьет эта весть. А у нее нет на свете никого ближе этого старика с кроткими глазами. «Это совесть моя...» – думает она часто.

Князь ревнует и оскорбляется. С той минуты, когда он увидал полушубок дедушки, его валенки и услышал его мещанский, стариковский говор, очарование артистки померкло. Она перестала быть для него загадкой. Он понял, как

сильна, как неразрушима эта органическая любовь ее к семье. Инстинктивно он угадал, что при всей своей страстности и поклонении ему Надежда Васильевна никогда не пожертвует для него этим стариком... И странно устроен человек! Хотя он сам неспособен на жертвы, он чувствует горечь. В сущности, он давно уже разлюбил Надежду Васильевну. Но чувственные привычки еще властвуют над ним.

Они часто ссорятся из-за пустяков. Это значит, что он нервничает, иронизирует и оскорбляет. А она молчит, покорная, со скорбным лицом.

Дедушка заболел. Простудился, верно, в дороге, но все ходит по квартире, кашляет и плюет на пол.

– Дедушка, – робко говорит ему Надежда Васильевна. – Вот в углу тазик с песком. Плюйте в него... Нехорошо, когда пол грязен...

Дедушка обиделся. Обругал ее «барыней»... Уж очень доняла она его своей чистотой. И откуда набралась сама таких привычек? Давно ли в подвале жила?... Надежда Васильевна виновато целует его руку с взбухшими жилами. От нее плохо пахнет, как и от всего, что носит дедушка и до чего он касается. Не вытравишь ничем этого запаха нищеты!.. Надежда Васильевна вспоминает, что и с детства она была такой «чистюлькой»... Вся в мать-покойницу, которая ежедневно умывала их и вычесывала им головы.

Наконец дедушка слег. Надежда Васильевна в отчаянии.

Шутка ли такой жар и кашель в его годы!.. А тут еще князь с его упреками... Из суеверного страха она отказывает ему в свиданиях. Ее отпор снова разжигает его чувства. Он преследует ее, грозит разрывом.

Она сдается, наконец. После спектакля он увозит ее к себе. И она плачет в его объятиях, не находя прежнего забвения и счастья.

Как это случилось, что она заснула, утомленная страстью его и своей тревогой?

Среди ночи она просыпается, полная ужаса. Который час?.. Уже четыре... Боже мой... Как она вернется?.. Что она скажет бабушке?

Но князь возненавидел бабушку с первого мгновения.

– Смешно и обидно за тебя, Nadine!.. Первая трагическая актриса... И вдруг боится необразованного старика...

Руки ее, застегивавшие лиф, замирают на мгновение. Она бросает князю скорбный, глубокий взгляд. Что-то с болью уходит из ее души. Точно свежая рана загорелась в ней. Ему лень встать. Он хочет позвонить лакею, чтобы отпер парадную дверь.

Она вдруг наклоняется над ним, гневно хватая за руку.

– Не смей никого звать!.. Сам вставай... Сам... Слышишь?.. Вот твой халат... Иди!.. Запирай за мной. Я ухожу...

Он идет за нею со свечой в руке. Как хороша она была сейчас! Вся новая какая-то, с этим гневным взглядом, с этим

властным голосом...

– А ты не боишься, Надя?.. Еще совсем ночь... Подожди немного. Я провожу тебя...

– Нет, нет... Пока не проснулся народ... Если нас встретят вместе... Прощай, Андрюша... Бог с тобой!..

Ни жива, ни мертва стучится она через полчаса под окном своей кухни. Но Поля молода и спит крепко.

Вдруг дверь распахивается. Надежда Васильевна чуть не падает. Перед нею дедушка. В его руке свеча. Запахнувшись в халатик, в туфлях на босу ногу, он смотрит ей в глаза.

– Дедушка! – виновато, жалобно хочет крикнуть она. Но нету слов.

Он жует губами, словно шепчет что-то. Печален и строг взгляд его запавших глаз.

С мольбой она протягивает ему руки. Но, точно не видя этого жеста, он поворачивается и идет в свою горенку.

Как слепая, спотыкаясь, возвращается Надежда Васильевна в свою комнату. Настя спит, раскрыв рот. И это мерное дыхание девочки, невинной и далекой от жизни и ее соблазнов, больно отдается в душе артистки. «Я грязная... подлая... низкая...» – говорит она себе, сидя одетая в постели.

Вдруг глухой кашель деда доносится к ней через закрытые двери.

Она падает лицом в подушки. Он все понял. Он не простит...

Ни слова не спросил у нее бабушка... Точно ей все при-
снилось в ту ночь. И с внешней стороны жизнь идет все тем
же порядком. Утром чай с семьей. Потом подготовка роли.
Затем репетиция. В четыре обед. А вечером спектакль. Она
играет почти каждый день. И надо выступать все в новых ро-
лях, в комедиях, даже в водевилях, потому что только ее имя
на афише обеспечивает полный сбор.

Но в душе Надежды Васильевны разлад. Она всегда чув-
ствует немой упрек в глазах деда. Без благодарности и ласки
принимает он ее уход и заботы. Смотрит куда-то поверх го-
ловы ее. Словно отгородился стеклянной стеной. Тут он. Да
не достать... И это так мучительно, что спроси он у нее что-
нибудь, скажи хоть словечко, — она кинулась бы ему в ноги
и призналась бы во всем... Она не умеет и не хочет лгать.

Но порыв раскаяния проходит. И она думает, что так луч-
ше. Как она признается ему? Где найдет слова?

Сильно угнетает ее также слабость бабушки. Сначала она
объясняла это усталостью после дороги. Но старик тает и
сохнет на ее глазах. Его желудок ничего не варит. Его часто
рвет кровью. Он редко выходит теперь даже в церковь.

Надежда Васильевна сама похудела за один месяц, точ-
но состарилась. Непонятная слабость подчас овладевает ею.
Нет сна. Нет аппетита. И тоска, тоска... Вечно угнетен-
ная, она разучилась смеяться. Жизнерадостная и остроум-
ная, она стала молчаливой... «Какая ты скучная, Nadine!..» —
нередко говорит ей князь.

И только сцена дает ей забвение. Как узник на стене тюрьмы зачеркивает углем прожитые дни и ждет свободы, так и она ждет урочного часа. Зажгутся огни. Загремит музыка. Из зеркала глянет на нее чужое, загадочно прекрасное лицо. Она улыбнется вчера еще неведомому, а нынче влюбленному юноше, услышит новые волнующие слова, каких никто не говорил ей в этом мире... даже Хованский. Целый строй новых и ярких чувств всколыхнется в ее душе...

Полно!.. Ее ли это душа? Ее ли это лицо и голос?.. Все забылось... Все отошло и побледнело. Стало маленьким и ненужным.

Когда наступает день, все тени, что ночью жили, шептали и колыхались вокруг нас, прячутся и молчат. И не дышат.

Но разве они исчезают? Разве они не здесь, рядом с нами, где-то за гранью видимого и осязаемого?.. Так и в ее душе – она знает это теперь – спят эти призраки, боящиеся дневной суеты и прозы. Но стоит солнцу померкнуть и вспыхнуть огням рампы, безмолвные призраки встают во весь рост, облакаются в плоть и кровь. Нет Нади Шубейкиной. Есть артистка Неронова. Нет... даже не она... Новая, прекрасная, чуждая всем женщина в гриме и средневековом костюме возрождается каждый вечер, чтобы умереть с огнями рампы. Нынче она *Дездемона*, завтра *Корделия*. Потом *Юлия* или *Вероника*. Затем *Луиза* или *Офелия*. С вечно изменчивой, гибкой душой, она живет яркой, дерзкой жизнью избранных. Смело любит и отдается любя, не боясь проклятий отца...

Она горячо ненавидит. Мстит и умирает, если жизнь отказывает ей в ее стремлениях...

О, таинственная, неувядающая радость творчества!

О, восторг перевоплощения!

На Новый год приезжают визитеры: полицмейстер, полковой командир с женой, майорша Вера Федоровна, искренне влюбленная в артистку, князь Хованский и Муратов. Хозяйка всех их принимает в своей маленькой гостиной. Хованский просидел ровно пять минут... Но Муратов просит Надежду Васильевну показать ему детей, познакомить его с дедушкой. Он так мил и ласков с детьми, так просто говорит с больным стариком, сидя у его постели, так участливо расспрашивает его о болезни... Надежда Васильевна растрогана. Она простила Муратову свое первое в нем горькое разочарование... Он все-таки добрее Хованского.

– Надежда Васильевна, – говорит он ей, прощаясь в передней. – Я боюсь вас огорчить, но не смею скрыть от вас правды. Ваш дедушка опасно болен... Вернее, болезнь его неизлечима.

– Что вы говорите? Боже мой!.. Ведь у него просто больной желудок... слабый желудок... Он всегда этим страдал.

Муратов вздыхает и проводит надушенным платком по влажному лбу. Потом низко наклоняется над руками артистки. Поочередно целует их. И сердце ее вдруг падает от зловещего предчувствия.

– Говорите скорей!.. Что вы думаете? Что у него?

– Канцер...

Она в ужасе глядит на него. Странное, страшное слово! Что таит оно?

– Мой отец умер от этой болезни, – говорит Муратов. – Не падайте духом, моя дорогая!.. Я завтра пришлю вам лучшего доктора... Нет, я сам привезу его вам... Быть может, я ошибаюсь... Но больного нельзя оставить без присмотра врача...

– О, спасибо!.. Спасибо вам...

Дедушка уже не встает. Надежда Васильевна теперь – вся трепет и тревога. Лицо ее – и в жизни, и на сцене – отражает, как зеркало, все ее душевные движения. И она не умеет скрыть своей заботы. Дедушка видит это, но упорно молчит. Он чувствует, что умирает. Знает это по тому равнодушию к близким, какое охватывает его. И это чувство отчуждения так отрадно, что ему жаль, когда оно проходит и сменяется страхом за эту беззащитную, одинокую женщину, которую подхватил бешеный поток и несет навстречу всем соблазнам мира.

Доктор и Муратов ездят каждый день. Поля беспрестанно бегают в аптеку. На все нужны деньги. А их так мало в доме! Из своего жалования Надежда Васильевна отослала Репиной сумму, которой та снабдила ее на дорогу. Она выплачивает долги по лавкам. Она наняла учителя для Васеньки и Насти. Теперь она часто по-старому голодает, на всем экономя, го-

товя в обрeз, но не лишая детей ни молока, ни мяса. Никто, кроме Поли, не знает об этой нужде. Надежда Васильевна со всеми держится замкнуто, почти надменно. Меньше всех об этом знает Хованский.

А играть надо каждый вечер. И репетиции занимают полдня. Да надо роли учить. Надо вникать в них. Никогда она не идет под суфлера, как другие. Волнение мешает ей слушать. Она знает всегда наизусть не только свою роль, но и все чужие реплики.

Весь дом теперь, в сущности, держится Васей да Полей.

С Хованским она видится только урывками. Он ревнует ее к Муратову. Он не верит чистоте их отношений. Но теперь Надежда Васильевна уже не молчит. Она страстно защищает Муратова. Ей стыдно, что она поверила наветам...

– Или он, или я! – как-то раз срывается у Хованского, взбешенного ее неуступчивостью. – Выбирай!.. Мне все это надоело...

Миг один она смотрит на него, прищурившись. И ему становится не по себе от ее взгляда.

– Я сама чувствую, что тебе это надоело, – тихо отвечает она. – Люблю тебя по-старому. Но унижаться... не умею...

«Что это? Разрыв?» – спрашивает себя Хованский по ее уходе. Он ошеломлен. Ни одна женщина не бросала его. Всех бросал он. Для него это вопрос чести. А тут еще Муратов... Неужели позволить ему восторжествовать, в конце концов?.. Ни за что!..

Он опять дежурит за кулисами. Опять стережет ее у подъезда. Ему кажется, что он влюблен по-старому. Он молит о свидании.

Она уступает, печальная, задумчивая, рассеянная... Нет прежнего жара в ее ласках. Их роли точно переменились. Он боится ее потерять. Он ревнует. Она всегда грустна.

Любит ли он ее еще?... Она часто спрашивает себя об этом с тоской и тревогой... Весь пыл его ласк бессилен обмануть ее тонкий, изощренный инстинкт, ее природный дар разбираться в людях. Теперь, когда страсть не ослепляет ее замученную, усталую душу, она угадывает его натуру. И не его любит она теперь, а свою прекрасную мечту, воплотившуюся в его образе. Но разлука близка. Случайно скрестившиеся пути их скоро разойдутся теперь. И не встретятся уже вновь в этом мире...

И когда она думает об этом будущем, без ласки Хованского, без этих кратких часов, когда она могла любоваться его точеным лицом, – жизнь кажется ей безводной пустыней, по которой она обречена идти без цели, изнемогая от жажды, без надежды ее утолить.

В январе объявлен бенефис Нероновой. Она выбирает *Коварство и любовь* Шиллера.

– Ангел мой, да что же это вы старым пробавляетесь? – журит ее антрепренер. – Видели, сколько новинок другие в бенефисы ставят? Целые афиши в два аршина длиной!

– Ну, пусть их ставят! Я ничего другого не могу теперь играть.

Действительно, роль *Луизы Миллер* больше всего подходит к ее настроению.

Сколько раз под давлением сына и Раевской антрепренер поручал ей роли в комедиях и даже в водевилях! Так хотелось всем ее провала... Но к общему удивлению и к торжеству режиссера, Неронова и в комедии успела выказать себя недюжинной, разнообразной, гибкой артисткой. У нее оказывалась бездна тонкого, природного юмора. А в водевиле своей грацией, безыскусственной жизнерадостностью и голосом она совсем затмила Струйскую. И надо сознаться, что это торжество очень радовало Неронова. Она много работала, чтобы унижить соперниц. Смиренно переносить их интриги совсем не в ее характере. Она уже не боится врагов. Она словно бросает им вызов.

За две недели до бенефиса, несмотря на высокие цены, все билеты уже раскуплены. На одну галерку цены остались те же.

– Вы, голубушка, привезите с собой завтра вашу Польку, – накануне бенефиса говорит ей режиссер. – Подношений будет много. Как бы не растащили из уборной... Строго накажите ей не отлучаться... Готовится вам овация...

– Ах, уж и не говорите! – с отчаянием отвечает Надежда Васильевна. – Я чувствую, что буду плоха... У меня дедушка болен...

– У артиста, когда он вошел в театр, нет ни бабушки, ни дедушки... Есть только искусство...

– Ах, знаю... знаю, дорогой мой... Наперед чувствую, что все забуду, как только надену костюм и парик... Но хорошо ли это?

– Это прекрасно... Чего бы без этого стоила жизнь артиста?!

Овации и подношения начинаются с самого первого акта. Как только мелькнул за кулисами клочок белого платья Луизы, вся публика поднялась, как один человек, чтобы приветствовать любимую, артистку. Клака опять свирепствует всю, вызывая Раевскую. Неронова, благодарно пожимая руку своего врага, все время выводит с собою и ее, и Лирского.

Со времени дебюта Нероновой прошло около пяти месяцев, но как вырос, как обогатился за это время ее талант! Муратов лучше всех в театре это видит. Все слова роли остались прежними. А какая разница в их передаче!.. То играла невинная девушка, не знавшая любви. Теперь на сцене женщина, изведавшая опьянение страсти, познавшая ее муки, ее разрушающую силу, ее роковое иго...

Она не видит Хованского на обычном месте в первом ряду. С какой тоской срывается у нее:

«Где-то он теперь?.. Знатные девицы видят его... говорят с ним... А я... жалкая, позабытая девушка...»

Сердце Муратова больно сжимается. Он знает, что Неронова позабыта. Из Петербурга приехала невеста Хованско-

го... Какие страдания ждут ее теперь!

Хованский на этот раз находится в ложе своей матери и занимает петербургских гостей. Юная и безличная, но миленькая блондинка в бальном туалете, с жемчугами на шее, сидит впереди. Из-за ее плеча Хованский смотрит на сцену. Рядом мать блондинки – пышная женщина, декольтированная, с бриллиантовым колье. Сзади седой генерал.

Сквозь щелку в занавесе, закусив губы и бледная даже под гримом, глядит на них бенефициантка в антракте. Услужливая Раевская первая указала ей на ложу. Надежда Васильевна ловит нежную, почтительную улыбку Хованского. Так он ей никогда не улыбался... Кто эта девушка? Быть может, невеста...

Муки ревности так новы, так жгучи, так ядовиты, что артистке в первый раз приходит мысль: «Хорошо бы умереть... Сил не хватит так страдать... Ах, если б я была одинока!.. Если б не дети и не дедушка...» Когда в антракте портниха советует ей переодеться для свидания с *леди Мильфорд*, она долго ничего не может понять... Ей хочется убежать из театра. Кинуться в поле, где нет людей... Кричать... кричать, как истекающее кровью животное. Но слез нет... Какой-то комок у горла не дает вздохнуть свободно.

Она жадно хватается за воду. Но не может сделать ни одного глотка. Горло сжалось. Боль растет... Испуганная портниха кидается к режиссеру.

– Что с вами? Сейчас второй акт... Скоро ваш выход...

Что такое случилось?

Но она гонит его и кидается к тазу. Густая, белая ядовитая слюна бьет ключьями из ее горла. Словно душит ее. Потом наступает облегчение. Без сил лежит она в кресле.

Раевская может торжествовать. Весь второй акт скомкан. Бенефициантка бледна и встревожена, как и требуется по роли. Но голос ее пропал.

Муратов не поднимает глаз. Он понял все...

К четвертому акту Надежда Васильевна уже овладела собой. Сцену с соперницей она ведет с затаенной страстью. Ревность – мучительная и безудержная – звучит в ее напряженном, коротком смешке, в ее мрачном, пронзительном взоре, в ее голосе, полном дрожи и страстной иронии. О, как она глядит на леди Мильфорд! Сколько ужаса и бессилия в этом взоре!.. Сколько безумной жажды отстоять свое счастье... Перед ней не банальное, хотя и красивое лицо Раевской. Нет! Она видит нежную блондинку в ложе. Это она отнимает у нее Фердинанда. И когда Луиза убегает, грозя сопернице своим проклятием и самоубийством, все чувствуют, что это уже не искусство. Это сама жизнь рыдает, борется, протестует, гибнет...

Бурная овация дает исход взволнованным чувствам зрителей.

Но артистка долго не выходит. Наконец показывается все такая же бледная, сосредоточенная, с тем же трагическим лицом. Она не благодарит, не кланяется. Опустив голову,

молча слушает она эти восторженные крики. Потом смотрит в ложу. Маленькие ручки в белых перчатках хлопают ей. Нежное личико улыбается ей. Хованский стоит за креслом блондинки. Долго, как оцепеневшая, смотрит туда артистка. Потом кланяется хрупкой девушке в белом платье. Разве не ей одной обязана она сейчас вот этим торжеством?

Но еще лучше удастся ей пятый акт. Он почти пропал, когда она дебютировала в этой роли. И только сцена смерти была прекрасна. Здесь же, с самого начала, все полно трагизма. Каждый жест, каждое слово полно глубокого, зловещего смысла. Ни разу еще искусство и жизнь не сплетались так тесно, не сливались в таком чудовищном кошмаре... На вопрос отца: «Ты здесь одна?» – Луиза отвечает:

«Нет. Я не одна. Когда так темно, так черно вокруг меня, тут-то и собираются ко мне гости...»

Миллер. Спаси тебя, Господи!.. Только нечистая совесть да совы любят потемки. Только грешники да злые люди бегут от света.

Луиза. Да еще вечность, говорящая с душою без посредников...»

Толпа шевельнулась и замерла опять. В этом напряженном внимании, в этой отрешенности от жизни она сейчас словно одно тело, одна душа...

Муратов прижмурил веки. Ему жутко слушать этот голос сейчас.

Она говорит: «Нас, женщин, считают слабыми, хрупкими

созданиями. Не верь этому, батюшка!.. Мы вздрагиваем при виде паука, но, не дрогнув, готовы обнять черное чудовище: тление...»

«Нет! Это невозможно, — думает Муратов. — Или я совсем не знаю ее... Она — женщина долга. Она слишком жизнерадостна. Она пламенно любит искусство. Любовь не может стать для нее альфой и омегой, как для большинства дюжинных женщин. Она вынесет этот удар... Талант и творчество спасут ее...»

Отчаяние Миллера смягчает душу его дочери. Луиза клянется ему, что не наложит на себя руки. И с потрясающей скорбью произносит артистка ее слова:

«Только скорее, батюшка, бежим из этого города, где надо мной насмехаются мои подруги... Где навеки погибло мое доброе имя... Дальше, дальше отсюда, где будет преследовать меня на каждом шагу призрак утраченного счастья!..»

«И для тебя, бедняжка, это было бы лучше, — думает Муратов, потихоньку вытирая глаза. — Много горя ждет тебя... Если б моя любовь могла придать тебе мужества...»

С возрастающей силой трагизма доводит бенефициантка до конца свою роль. Луиза умирает, отравленная Фердинандом.

Женщины плачут.

Артистка, лежа в безжизненной позе, пока идут последние сцены *Фердинанда с Миллером и президентом*, думает с горечью:

«Луиза счастливее меня. Смерть избавляет от страданий. И он любил ее до конца...»

Если б аплодисменты, восторги и любовь публики могли вознаграждать женщину за утраченные иллюзии любви, за измену и страдания ревности, то Надежда Васильевна должна была бы утешиться в этот вечер.

Овация длится несколько минут. Вся сцена уставлена подношениями. Чего тут нет? Венки, цветы, конфеты, фрукты; бриллиантовая брошь и серьги от Муратова; изумрудное кольцо от губернаторши; дубовый ящик со столовым серебром от полицмейстера; серебряный самовар от одного купца; от другого три штуки атласу на платья; от третьего – тридцать аршин лионского бархата; турецкая шаль от майорши Веры Федоровны... Приехавший на ярмарку из Сибири и застрявший в городе меховщик, безнадежно влюбленный в Неронову, поднес ей великолепный двухтысячный мех черно-бурой лисицы, синевато-черный с сединой. Это целое состояние.

Как ни несчастна артистка, но и она потрясена трогательными изъявлениями этой любви. Она выходит на бесконечные вызовы. Прижимает руки к груди... Смотрит вверх своими прекрасными, скорбными глазами... Слабая тень улыбки скользит по ее лицу и тотчас застывает в напряженной, болезненной гримасе. Муратов, тяжело дыша, не спускает с нее бинокля.

Подают еще что-то из оркестра... Пара старинных брон-

зовых тяжелых подсвечников... «От студентов Харьковского университета», – говорит режиссер, громко, внятно, поймав секунду тишины.

– Bravo! Bravo! – истерически, с юношеским восторгом кричит Муратов на высоких, почти визгливых нотах... Но этот крик тонет в поднимающейся буре. И в эту минуту слезы, которых инстинктивно, тщетно ждала Надежда Васильевна весь вечер, брызнули из глаз ее. И стало легко. Она взглянула вверх на бушевавшую молодежь. И низко склонившись, прижав руки к сердцу, она стояла так несколько минут.

Она их никогда не забыла. Тут только вполне ясно, не умом, а всем существом своим поняла она, что есть в жизни еще что-то – выше любви, ее радостей, и страданий... И что это сокровище принадлежит ей...

Но вот в уборную вошел Хованский.

Боже мой, какой маленькой, ничтожной и жалкой чувствует себя эта женщина, которая только что властвовала над толпой... которая одним взмахом ресниц, одним взглядом или жестом повергала эту толпу в трепет и вызывала ее экстаз...

Он так холодно и выразительно смотрит на Полю и на костюмершу, что те быстро уходят из комнаты.

– Поздравляю тебя, Nadine! – говорит он, целуя ее в лоб. – Здесь, у нас в ложе, наши друзья из Петербурга. Они в восторге. Они говорят, что ни Асенкова, ни Самойлова не волновали их так сильно... Мне это было приятно слышать...

Что ты так смотришь на меня?.. Мы не на сцене, моя милая... Ха!.. Ха!.. Ты точно продолжаешь играть... Tiens... Совсем было забыл...

Он подает ей футляр с простеньким золотым медальоном на тонкой цепочке.

– Ты хотела иметь мой портрет... Смотри... похож я?.. Это делал прекрасный художник. Я выпросил его у сестры... Со слабым криком она обнимает его...

– Опять слезы?.. Как ты разбила свои нервы!..

«Любишь ли ты меня?» – горит крик в ее груди, в ее сверкающих глазах. Но она ни о чем не спрашивает. Она ничего не хочет знать в эту минуту. Он опять купил ее сердце.

– Дай, я сам надену его на тебя, – говорит он.

О, это милое прикосновение нежных рук!.. За эту минуту она простила ему все, что он заставил ее выстрадать.

– Как жаль, что я не могу тебя проводить нынче! – говорит он, почтительно целуя ее руку.

И ее точно пронзает этот новый тон, в котором чувствуется признание ее таланта и превосходства.

– Я должен ужинать с этими дамами... Но завтра, Nadine... В три часа я жду тебя... Слышишь? И дай мне слово, что Муратов тебя не будет провожать?.. Даешь?

– Да... да... – слабо улыбаясь, лепечет она.

Он уходит... Она открывает медальон, сквозь слезы глядит на милые черты. Потом целует эмаль.

Режиссер и полицмейстер стучатся в уборную.

Надежда Васильевна, пожалуйста... Вас там молодежь ждет... Театр разнесут, если вы скроетесь.

Студенты на руках выносят ее на подъезд, сажают в карету... Миг... И молодежь выпрягает лошадей. Студенты везут карету среди криков восторга.

Полицмейстер в коляске провожает артистку до дому. Сзади едет еще экипаж с подношениями и с Полей, улыбающейся во весь рот.

А Надежда Васильевна, прижавшись в уголку и спрятав лицо в сноп живых цветов, думает с тоской словами *Луизы Миллер*: «Где-то он теперь? Знатные девицы видят его... Говорят с ним... А я?.. Жалкая, позабытая девушка...»

И слезы бегут по ее щекам. Имя ее на всех устах в эту минуту. Нет женщины, которая не позавидовала бы ей. Ее считают счастливницей... И кто знает? Быть может, эта самая хрупкая блондиночка, плакавшая нынче от ее игры, душе считает завидной ее долю?

Но ведь он еще любит ее... Из тщеславия. За любовь других. За преклонение молодежи. За власть над толпой. Не все ли равно?.. Она увидит его завтра. Она не спросит у него ни слова. Не бросит ни одного упрека. Все умрет в ней... Она не хочет отравить краткий час мимолетного счастья...

Слезы бегут из ее глаз.

Вот сотня молодых, быть может, красивых, быть может, интересных, людей бегут у окон ее кареты, горячими глазами смотря в окна... Одна улыбка ее, пожатие руки составили

бы счастье каждого из них. Скажи она слово, кто из них не упадет к ее ногам? Кто из них не ответит ей пылкой, молодой, беззаветной страстью?

Но почему же она чувствует такое страшное одиночество? Не нужны ей эти юноши, их любовь, их горячие взгляды... Зачем в эту минуту высшего жизненного подъема она одна в этом тесном ящике кареты, со своей тоской?..

Где он?.. Тот единственный, который ей нужен?

Перепуганный необычным шумом и лаем собак дедушка через силу сползает с постели и идет будить Васю.

– Встань... встань, скорее! С нами крестная сила!.. Народу что валит!.. Пресвятая Владычица... Несут кого-то... Видно, с Надеждой беда приключилась...

Вася кидается отпирать дверь.

Дедушка, высокий, тонкий, в халатике и туфлях на босу ногу, стоит среди комнаты и дрожит.

– Дединька... Миленький... Что вы?.. Зачем встали? – лепечет испуганная Надежда Васильевна. – Лягте!.. Лягте скорее... Вас продует...

Обняв старика, она ведет его в спальню, раздевает, укладывает. Взбивает подушки, подтыкает одеяло. Следы грима на ее лице. Но душа уже полна повседневным.

Бойкая Поля принимает все подарки из рук полицмейстера. Густой бас его гудит в квартире.

– Хорошенько запри двери... Неравно ограбят... Смотри ты у меня, остроглазая!..

И будочнику, отдающему честь и словно застывшему в этой позе, он показывает мощный волосатый кулак.

— Стереги... Если что... со свету сживу! В тюрьме сгною...

Ушли, слава Богу!.. И дедушка уже дремлет.

На цыпочках выходит Надежда Васильевна из спальни старика, где она сидела у постели его, все еще в капоре и в салопе. В своей комнате она рукой нащупывает на груди талисман, который ей дороже всех богатств, поднесенных ей нынче.

Она никогда не сняла этого медальона, даже обманутая и покинутая; даже любя другого; даже обвенчавшись с другим...

И через сорок лет с этим медальоном положили ее в могилу.

Слава Нероновой растет. Много и вдумчиво работает она над ролями. Явилась вера в себя. Исчез страх за будущее. Она знает теперь, что каждый провинциальный театр сочтет за честь иметь ее в своей труппе... Но сколько сомнений, сколько неразрешимых вопросов! На каждом шагу недостаток образования дает себя знать, когда она старается понять нравы и взгляды эпохи, в которую жила героиня. А посоветоваться не с кем... кроме Муратова.

Вот истинный друг... Только в беде познаются они... Редкий день он не заходит узнать о здоровье дедушки. Он не

брезгует ее родней, как Хованский. С ним легко говорить о всех повседневных заботах. А говорить об искусстве – одно наслаждение! Как он тонко разбирается в художественных типах! Как внимательно следит за игрой Надежды Васильевны! Какие делает ценные замечания!.. Иногда она ловит себя на том, что играет только для него... Или, вернее, играя только для себя, в силу творческой жажды, она, выходя за кулисы, прежде всего, вспоминает о Муратове: что-то скажет он? Понравилась ли ему эта сцена? Заметил ли он этот штрих?.. Хованский любит в ней только женщину. О, она это давно поняла!.. Муратов любит в ней артистку... И Надежда Васильевна сама не замечает, как растет в ней привязанность к этому жизнерадостному толстяку, с седеющей головой и молодым сердцем.

А Хованский безумно ревнует... Он запрещает любовнице принимать Муратова. «Этого я не могу...» – возражает она. И эта непокорность его возмущает. Он не верит в бескорыстную дружбу седеющего донжуана. Он цинично осмеивает иллюзии Надежды Васильевны. Душа ее?.. Ха! Ха!.. Кому нужна душа красивой женщины? Он просто хочет отбить любовницу у князя... быть может, в отместку за то, что он недавно еще отбил у Муратова красавицу-арфянку...

– Довольно!.. Довольно! – молит Надежда Васильевна. – Я ничего не хочу больше слышать...

...Дедушка медленно умирает. У него страшная болезнь – рак. Так сказал Надежде Васильевне профессор, друг Мура-

това. Спасти старика невозможно. Он не протянет до поста.

Она плачет по ночам. Но днем она улыбается больному и каждую свободную минуту сидит у его постели.

Как часто в бессонные ночи, подавленная ужасом надвигающейся смерти, она чувствует безграничную усталость!..

Но есть забота еще важнее: она беременна... Хованскому она ничего не сказала... Зачем? С каждым днем они все дальше отходят друг от друга. Он не хочет простить ей ее дружбы с Муратовым. А в мае кончается его отпуск, и вместе с матерью он вернется в Петербург. Между ними не только лягут тысячи верст. Нет, целая жизнь с новыми впечатлениями, новыми встречами, связями, интересами – разделит их, как бурный поток. И, стоя на другом берегу, она уже не различит бледные черты, не услышит родной голос... Все будет кончено... Все...

И еще мучит ее ложь. Кроткие глаза дедушки все чаще, все настойчивее останавливаются на ее лице. Все строже глядят эти глаза, словно хотят спросить: «За что ты обидела меня? Зачем обманула?..» Но она не может сознаться ему в своем позоре. Она не может сказать ему, что она уже безумно любит свое нерожденное дитя, и что позора своего она не отдаст даже за райское блаженство.

Она так изменилась за этот месяц, что все за кулисами заметили это и злорадно шепчутся, догадываясь о причине.

Один раз на репетиции Раевская громко через всю сцену говорит Струйской:

– А слышали вы, что Хованский женится?.. Как же!.. На богатой аристократке... Помните, она была здесь с матерью?.. В их ложе сидели... Ах, кстати... Вот Надежда Васильевна, наверно, все знает...

«Только бы не упасть... Только бы не выдать себя...» – думает Надежда Васильевна, крепко держась за спинку стула и чувствуя, что пол словно качается под ее ногами. Сделав над собой геройское усилие, она оборачивается к Раевской. Не видя ее сквозь темное пятно тумана, она отвечает деревянным голосом, и сама его слышит как бы издали:

– Для меня это не новость. Князь скоро уезжает...

Опять она берется за роль и читает что-то, беззвучно и без выражения, решительно ничего не понимая.

Как она пережила эти три часа репетиции?.. Но, сев в кресло, она лишилась чувств.

Она очнулась уже у себя в постели.

Но потрясенная, вся еще разбитая физически и нравственно, она тотчас же вспоминает о дедушке. Лихорадочно расспрашивает она Полю, как отнесся к ее обмороку больной? Неужели услышал, как ее пронесли без памяти и положили на постель?..

– Ужас как испугались, – шепчет Поля. – Ажно затряслись... Встать хотели, Васенька не пустил их...

– Боже мой, Боже!..

Шатаясь, идет она в его горенку и опускается на колени перед его постелью. Она целует его свесившуюся руку. При-

жимается к ней щекой.

Старик долго лежит молча. Потом кладет иссохшую руку на голову своей любимицы.

От этой всепрощающей ласки дрогнула и распрямилась сжавшаяся, словно замерзшая душа ее. Слезы хлынули из глаз Надежды Васильевны. Голова ее упала на одеяло и забилась. Весь ее ужас перед жизнью, весь ее ужас перед смертью, вся безысходная тоска ее любви и грядущего одиночества впервые вылились в этих рыданиях. «Прости меня... прости меня подлую, слабую... – рвутся из души ее немые признания. – Моя жизнь грех. Не сберегла я девичьей чести... Обманула тебя...»

Понял ли ее – молодую, страстную, – умирающий, уходящий из жизни старик?.. Кто знает?.. Но слабые пальцы его затрепетали на голове внучки, как бы лаская, как бы жалея, как бы благословляя на жизнь-битву изнемогающую женщину...

Дедушка умер.

Надежда Васильевна точно выплакала все слезы в тот памятный день, неделю назад. Старик угасал на ее руках в страшных мучениях. Агония казалась бесконечной. И Надежда Васильевна, убегая в свою комнату, падала перед образом и молила смерть-избавительницу прийти скорей, скорей...

Сейчас она точно закаменела. Муратов приехал, узнав в

театре об ее горе, и теперь хлопочет о гробе, о похоронах.

Она сама обмыла покойника, сама сшила саван и убрала дедушку в последнюю дорогу. Ее комната самая просторная в квартире. Поэтому она уложила покойника в своей спальне, в красный угол, под образа, на чисто вымытый стол. Подбородок она ему подвязала платочком. Руки скрестила на груди.

Дети и Поля заснули. А она еще читает Псалтырь над покойником. Глубокие, грудные, полные трепета и драматизма звуки дрожат в тишине полутемной комнаты. И внимательно слушает мертвый дедушка, крепко сжав безответные уста.

Наступает реакция. Почувствовав непреодолимую усталость, Надежда Васильевна ложится. Задергивает полог кровати. И точно камень идет ко дну.

Ночью она вдруг проснулась, словно от толчка. Кто позвал ее?.. Не открывая глаз, она чувствует кого-то рядом. Лампадка погасла и начала тлеть. Но в комнате светло. Это луна светит в окна.

Надежда Васильевна открывает глаза. И тотчас в ужасе прижимается к стене. Дух захватило.

Раздвинув плечами кисейный полог, дедушка стоит перед нею. Коленкоровый саван топорщится на плечах. Платочек поддерживает челюсть и тесно сжатые губы. Глаза его закрыты. Руки смиренно скрестились на груди. И так кротко, так печально это лицо в лунном свете...

Надежда Васильевна отворачивается, зарывается головой

в подушки. Зубы ее стучат. Холод проник до самого сердца... Два раза она пробует оглянуться. Но в поле зрения попадает все тот же страшный силуэт, все тот же саван, который топорщится на костлявых плечах... Дедушка все еще стоит рядом, словно ждет чего-то...

Чего, чего он ждет? Сознания в ее грехе, в ее обмане? Тех слов, которые она не сказала?.. Ее молчание отделило их при жизни, как стеной, друг от друга... Теперь мертвый ждет ответа и раскаянья...

Надежда Васильевна потеряла сознание.

Луна уже ушла, и серое лицо рассвета приникло к окнам, когда она очнулась, наконец.

Сквозь щель в кисейном пологе она опять видит комнату, стены, окно... А там, через кисею, угол стола, неподвижную фигуру покойника, его жалкие, врозь глядящие ступни, обутые в белый коленкор.

Беззвучная поднимается она на подушках. Не спуская с покойника расширенного взгляда, сползает она с постели. Вся сжавшись в комок, не отрывая взора от неподвижных ног, обутых в белый коленкор, ползком добирается она до двери. Судорожно распаивает ее.

Дикий, истерический вопль вырывается из ее горла. Она кидается на кухню к Поле. Обхватывает ее, вся трясаясь, прижимается к ней. В ужасе глядит на распахнувшуюся дверь. И, не слыша крика перепуганной девушки, замертво падает на тюфяк.

«Истеричка и галлюцинатка», — печально думает Муратов, наутро в передней выслушав Полю, которая шепчет крестится и озирается.

Но Надежда Васильевна уже спокойна. Всю панихиду она стоит на коленях. Не молится и не плачет. Но точно не замечает и не узнает никого.

Всю ночь у гроба, в который уложили дедушку, читает монашенка. А Надежда Васильевна сидит рядом, прислонившись виском к коленкоровой подушке. Никакого духа нет от дедушки. Лежит, как живой. Только высох, как щепочка... И нет уже страха в ее душе.

— Прости меня, дедушка, — шепчет она. — Прости меня, низкую, развратную... Не снял ты с души моей греха своим прощением. Но теперь все открыто тебе... Благослови же на одинокий, трудный путь!.. И дитя мое помяни в своих молитвах. Оно-то ведь ничем не виновато...

Дедушку схоронили перед масленой... А на другой день Надежда Васильевна уже получает повестку, что идет новая пьеса *Параша-Сибирячка* в бенефис режиссера. Письмом он просит ее взять на себя главную роль, «...если, конечно, ее горе ей это позволит... Раевская эту роль провалит...»

Как можно отказать такому золотому человеку? Она едет на счетку... Вдумываясь в эту роль, она действительно минутами совсем забывает о своем горе... Какое счастье, что есть во что уйти от себя и от жизни!

Все эти дни Муратов был рядом с нею, утешая и ободряя. За гробом до кладбища они шли рядом. И домой на поминки всей семьей вернулись в его карете. Хованский так и не появился.

Публика встречает осиротевшую артистку трогательной овацией. Хованский опять в первом ряду, рядом с Муратовым. Они холодно здороваются. Князь чувствует себя уязвленным. Ни одного взгляда не кинула ему артистка нынче, хотя бы случайно... Опять острое влечение к ней просыпается в его крови. Они так давно не видались. Вечность...

В антракте он стучится в ее уборную. Поля спешит выйти. Он целует руку артистки.

– Вы мне позволите проводить вас нынче? – церемонно спрашивает он.

– Благодарю... Я очень устала... Я одна...

– Надя! – властно перебивает он. И в его глазах она видит его желание... Любовь?... Нет... Без слов, без объяснений она чувствует, что это последние огни догорающего пира. Она скорбно глядит на него и молча опускает голову.

Вот она опять в его холостой квартире. Никто не помешает ей теперь остаться здесь хоть до рассвета. Никого не стыдно. Никому не обязана отчетом... Но ей уже не до ласк, не до объятий.

– Бог с тобой, Андрюша! – говорит она. – Ни разу не вспомнил ты меня в моем горе. Разлюбил ты меня...

– У вас был Муратов... Я не хотел быть лишним...

Она тихонько плачет. Когда он хочет ее обнять, она его отстраняет.

– Что это значит? – злобно спрашивает он.

Она показывает на свое черное платье.

– Ты не видишь разве?.. Мне не до любви, Андрюша... Я приехала, чтоб проститься с тобой. Никогда сюда больше не вернусь... Ты меня больно обидел... Зачем ты лгал? Почему не мне первой сказал, что женишься? Разве я чего-нибудь от тебя ждала? Разве ты что-нибудь обещал мне? Разве мы пара? Сходясь с тобой, я знала, что ты уедешь весной... Ну, что же ты молчишь?

Хованскому неловко отречься. Весь город говорит об его скорой свадьбе. Но он клянется, что не любит эту девушку. Это мать его устраивает его брак, чтобы поправить средства. Они разорились. Он не может идти против воли матери. Он ее единственный сын.

– Отчего же ты сам мне этого не сказал?.. Чужие люди донесли и мне в лицо смеялись. Ты меня убил своей ложью. Все простила бы тебе... Этого не прощу...

В первый раз она говорит с ним так независимо, так резко. В первый раз она отказывает ему в ласке. Хованский взбешен, выбит из колеи. Страсть и злоба опьяняют его. Он готов даже на насилие, чтобы обладать этой женщиной, к которой совсем охладел еще неделю назад. Он умоляет, унижается, грозит, оскорбляет.

Но она встает, скорбная и холодная, навсегда замкнувша-

яся от него, глубоко страдая от презрения к тому, кого она ставила так высоко.

– Довольно, довольно!.. Все кончено... Злобы у меня к тебе нет. Но и любви тоже, кажется, нет... Если в те дни, когда я так плакала и мучилась... даже на похоронах, если бы я услышала от тебя хоть одно доброе слово, я тебе простила бы все... даже обман твой... А теперь – не верю твоей любви... А раз не верю, то ты и не нужен мне... Уезжай и будь счастлив!.. Бог с тобой... Зла помнить не буду... А за ласку спасибо... Прощай!..

Как уничтоженный стоит Хованский. Он растерялся. Он чувствует себя таким маленьким, жалким, точно побитым.

Что это значит? Или он не знал эту женщину?

Она подходит и целует его в лоб. Ах, как хотелось бы ударить ее в грудь рукою! Ударить больно... избить... изругать... Но навыки воспитания сказываются и в эту минуту. Стиснув зубы, смотрит он, как она выходит из комнаты, опустив голову, не оглядываясь. Он слышит стук ее каблучков в передней. Хлопнула парадная дверь.

– Алексей! – кричит он, опомнившись. – Подсадите барыню в карету... Довезите ее до дому...

Через неделю Хованский выехал в Петербург, ранее, чем хотел. Пост начался, и театр был закрыт. Тем лучше! Князь не искал свиданий... Он никогда больше не видел Неронову. В июне у Надежды Васильевны родилась дочь. Ее окре-

стили Верой в честь крестной матери, майорши Веры Федоровны, страстной поклонницы Нероновой. Режиссер предложил себя в крестные отцы. В церковную книгу вписали: «Вера Шубейкина, рожденная вне брака...»

Роды были трудные, чуть не стоившие жизни матери.

Долго не может оправиться Надежда Васильевна.

Когда она встает с постели, она слаба и худа, как скелет. Зато у Верочки – прекрасная кормилица, которую Муратов привез из своей деревни. Верочка – жалкий заморыш, и вся надежда молодой матери на хорошее молоко краснощекой, веселой Ненилки.

Лето в разгаре. Муратов перевозит артистку на хутор, под городом. Хозяйка хутора раза два была в театре, преклоняется перед Нероновой. Она уступила ей две лучшие комнаты. Целыми днями лежит Надежда Васильевна под молодыми дубками и смотрит в далекое синее небо. Она вспоминает бабушку, вспоминает Хованского. Как хорошо, что нет гостей... что она одна, что можно плакать...

А нужда уже стучится в двери. Поля ездит в город потихоньку от Муратова и кумы Веры Федоровны, навещающей больную. По поручению артистки Поля заложила серебряный самовар и сервиз, даже мех черно-бурой лисицы, даже шелковые платья... Деньги тают, как лед на солнце, когда в доме болезнь. А вот уже семь месяцев, как доктора не выходят из квартиры Нероновой. Сперва бабушка болел, потом Настенька с Васей заразились корью. А теперь она больна. Да

еще эта безработица... И надо продержаться до осени. Обороны Боже, чтобы кто-нибудь догадался об ее нужде! Она умрет со стыда, если Муратов предложит ей займы... Вся их прекрасная дружба рухнет разом. А она так дорожит ею... Ведь это все, что у нее осталось в жизни!

Редкая женщина не переживает такой драмы – рано или поздно. Любовь уходит, унося наши иллюзии, убивая наивную веру в вечность и неизменность чувств. И вся личность наша определяется тем, как мы переживаем этот кризис. Слабые души гибнут среди крушения, отказываясь принять грозную жизнь и ее откровения, не имеющие ничего общего с нашей моралью. Сильные принимают вызов и бесстрашно идут вперед, создавая себе новые цели, новые привязанности, упорно ища радости, кляня свои заблуждения и благословляя жизнь.

Надежда Васильевна всю страстную жажду привязанности и самопожертвования перенесла теперь на Васеньку, Настю и на свою маленькую дочку.

Она ожила, когда осенью начались репетиции. Снова зазвенел ее голос. Снова засверкали глаза. Она возмужала, похорошела. И все заметили, что после пережитой драмы талант ее словно вырос, стал глубже, разностороннее, ярче.

«Теперь я сильна, – говорила она себе, получив от киевского театра самые лестные предложения на будущий сезон. – Никого из них не стоит любить... Ни из-за кого не стоит лить слез... Ценить себя надо. Есть у меня мое сокро-

вище – Верочка. Есть радость – сцена... И Бог с ней, с любовью!... Не поддамся...»

И она ревниво оберегает свое сокровище. Каждый вечер, не доверяя кормилице, она берет ее и дочку в театр, и Верочка мирно спит в корзине, в ее уборной. «Какая прелестная девочка!» – ядовито замечают актрисы. А мать гордо улыбается...

Она словно на голову выросла. Изменилось выражение лица. Что-то значительное проявилось во взгляде. Какая-то сила в манерах, когда-то робких... Умерла застенчивая девушка. Ее сменила женщина, знающая себе цену.

И отношения к людям и товарищам резко изменились. В дружбу и лесть женщин она не верит. К любви мужчин относится с иронией. Верить можно только в себя... Тем более ценит она дружбу режиссера. Струйской уже нет, но интрига сильна по-прежнему. Успеху Нероновой завидуют. Ее ненавидят не только женщины, но и мужчины. Они не менее тщеславны и мелочны. Но на интригу Неронова отвечает теперь нескрываемым вызовом и враждой. Ее оплот в борьбе с труппой – любовь публики... И она вознаграждает артистку за все.

Скоро за кулисами Надежда Васильевна узнает, что Муратова считают ее любовником. Клевета ползет из театра в город.

В первую минуту она так ошеломлена людской низостью, что плачет до истерики. Потом наступает реакция. В сущно-

сти, о чем тут плакать?.. Разве это не могло случиться?.. Конечно, он уже немолод, и она не любит его. Но одиночество так тягостно. А его преданность так трогательна... Она уверена, что Муратов женился бы на ней, если б умерла его жена. Но развода она не потребует. Зачем? Разве она сама не свободна?..

Когда Муратов, испуганный дошедшими до него слухами, перестает ездить к Надежде Васильевне, она сама шлет за ним Полю.

– Вы что же забыли меня, друг мой?

Муратов красен, сконфужен. Робко целует руку.

– Сплетен испугались?.. Полно, голубчик! Я не барышня. Я актриса... Сами знаете, какие у нас нравы. А раз мы с вами перед Богом чисты, что нам до людей?

В первый раз она видит его в таком волнении. Он трогательно говорит ей о своей любви. Ведь он полюбил ее с первого взгляда, когда она играла *Офелию*. Но он не мог говорить... Их многое разделяло... Конечно, она вправе иронически улыбаться...

– Я и не думаю улыбаться, – мягко перебивает она.

Конечно, до нее дошли слухи об его прошлом. Да, он жил широко. Да, он много увлекался... Но любит он только в первый раз. Он и сам не верил, что способен на такое чувство.

Он припадает к ее рукам. Она гладит его по жестким седеющим волосам. Ей грустно. Ей хочется плакать. Он толст, у него одышка. Он так смешно сопит... Нет иллюзии...

Она тихонько отстраняет его трясущиеся руки.

– Вы позволяете мне говорить вам... говорить о моей любви? Вы не гоните меня?

– Нет, – грустно отвечает она, глядя куда-то поверх его головы и видя там лицо Хованского. – Я рада вашей любви. С нею мне тепло... Постойте, голубчик, не целуйте меня!.. Когда-нибудь потом... Слишком трудно забыть...

– Ах, я понимаю!.. Если б я был молод!

Он тихонько обнимает ее. Ее голова лежит на его плече.

– Если б вы были молоды, я бы вам не поверила. Я, наверно, прогнала бы вас... Знаете пословицу? Кто на молоке обжегся, тот на воду дует... А я больно обожглась... Но душа ваша, доброта ваша... Вот что ценю...

Она тихонько целует его руку с крупным бриллиантом на мизинце.

– Ай... ай... Что вы делаете?.. Царица моя... Что вы делаете?

Захватив руками голову, он плачет. И вздрагивает все его крупное тело. Она дает ему каплю, воды... Обнимает его голову и целует влажный лоб... Печальная сцена любви...

– Я от вас одного, да еще от режиссера нашего уважение к себе, беззащитной и одинокой, встретила. Как мне вас не ценить, друг вы мой единственный?

– Боже... Боже... если б я был на десять лет моложе!..

Но она устало; печально возражает.

– Поклонников у меня много. И молодых, и красивых. На

что они мне? Поймите вы меня... Не мужчина мне нужен... а душа родная. Осиротела я после дедушки... Зачем лгать?... Я никогда не полюблю вас, как любила... – Она смолкает.

– Да разве я безумец? Разве я смею надеяться?

– Но я привязалась к вам всем, сердцем... И мне страшно подумать, что я и вас могу потерять... А за вашу любовь к моей Верочке – я вам так благодарна!.. А теперь идите домой, друг мой... И не сердитесь на меня... Не вольна я над своим сердцем... Не умею забывать...

Но кровь ее слишком горяча. Слишком много у нее неизжитых порывов и жажды счастья. А Муратов влюблен, как юноша. И все делается незаметно, само собой...

Если б в ту пору жизни кто-нибудь спросил Надежду Васильевну, счастлива ли она, она без колебания ответила бы «да!..» Сцена поглотила всю ее душу. А дома ждало блаженство в лице подраставшей Верочки. Ждала радость в страстной, но застенчивой любви Муратова, в его заботе и ласке.

Вместе они не живут. Не в характере Надежды Васильевны выставлять напоказ свою интимную жизнь. Да и детей своих она оберегает от сплетен. Она сняла другую квартиру в центре города. У нее большая комната, где она учит роли, не стесняясь, что ее услышат дети и Поля, которая хватается за бока, что бы ни читала ее барыня – водевиль или монолог из Шекспира. Вещи свои она постепенно выкупила, и опять кругом достаток и хозяйственность. Одевается

она с художественным врожденным вкусом. Никогда, даже в детстве, она не была вульгарной и так сильно выделялась в мастерской своей сдержанностью и грацией, что и тогда ее прозвали «барышней». Теперь она – барыня с головы до ног. Природное изящество, пленившее Хованского, и привычка, играя принцесс, следить за собой, выработали у нее совсем светские манеры.

Все считают ее содержанкой Муратова. Но никогда ни копейки не берет она у него... Раз отказала в очень резкой форме... «Отношений портить не хочу...» И он сконфуженно смолк. И только в бенефис, как всякая актриса, она соглашается в числе других принять и его ценные подношения.

На Пасхе Муратов привозит Надежде Васильевне чудесный букет роз из своей оранжереи.

Он во фраке. Очень представительен. Но и очень взволнован.

– Что с вами?

– Я прошу вашей руки...

– Что такое?

Она испугана. Нервически кривится угол ее рта. Ослабевшие ноги не держат ее. Она садится.

– Дорогая моя, я свободен... Не о себе хлопотал, о вас... с первого дня, когда вы позволили мне любить вас...

– Она умерла?

– Нет... Нет... не волнуйтесь!.. Она согласилась на развод. Вот ее письмо... Читайте!.. Она – прекрасная женщина.

Но ведь мы уже давно чужие... И она примирилась с этим... Она больна неизлечимо... Милый друг, я так счастлив, я так счастлив... Я страдал от всех этих сплетен, от косых взглядов... Я знаю, что вы горды, что вы отвечали презрением на все намеки и не стыдились нашей любви... Но... вы женщина религиозная... Вы всегда мечтали о замужестве... Верочке нужен отец. Нужно имя... А я обожаю вас!.. Я обещаю вам самое безответное, самое преданное рабство...

Она плачет от радости и благодарности. За что послал ей Бог такое счастье?

– И я, друг мой, обещаю вам самую верную, самую глубокую любовь... Не страсть... Вы сами понимаете, что...

– О, молчите!.. Я все понял... Я ни на что больше не смел надеяться... Я благословляю мою судьбу...

– Но я никогда не обману вас, мой голубчик... Не заставлю вас страдать... Никому не дам повода смеяться над вами...

За кулисами опять смятение.

– Вы выходите замуж за Муратова? – спрашивает Раевская. И в голосе ее звучит страх и невольное уважение.

– Откуда вы знаете?

Вся труппа окружает их. Антрепренер подбегает и льстиво целует руку Надежды Васильевны.

– Весь город, ангел мой, говорит...

– Ну, коли город заговорил, значит – правда...

Труппа расходится смущенная.

Все спустили тон. Все заискивают. «Низкие люди! – думает Надежда Васильевна. – Как много значат для них деньги!...»

– Вы теперь, конечно, оставите сцену? – говорит ей на другой день Раевская.

– Как оставлю? Кто вам сказал? Ведь в сцене вся моя жизнь...

Лица женщин вытягиваются.

Свадьба назначена на осень, когда кончится вся бракоразводная процедура. А летом Муратов перевозит в свое имение Надежду Васильевну со всем ее семейством и прислугой.

Дом у него – дворец, с вековым парком, с оранжереями, с фруктовым садом, с псарней. Сам Муратов не любит охотиться, но держит охоту для гостей. В доме много челяди и много бестолковщины. Надежда Васильевна все видит, но из чувства такта ни во что не вмешивается. Она держится гостьей. Однако прислугу не обманешь. Поля проболталась, и все считают артистку настоящей хозяйкой.

Часто наезжают гости и соседи-помещики к хлебосольному Муратову. Но Надежда Васильевна не любит гостей. Она обожает природу. По целым дням она гуляет в парке, а вечером выходит в степь. Часами смотрит она в беспредельную даль, озаренную луной. Любит она и темные ночи, не похожие на северные. Мрак в аллее такой, что руку держишь перед собой и не видишь руки. Звезды огромные горят алмазами.

А через все черное небо от края до края перекинулся, как мост, ясный-ясный Млечный Путь...

Они часто гуляют вдвоем. Но в такие ночи она предпочитает одиночество. Она слушает песни, доносящиеся из деревни, и сердце ее сжимается сладкой болью. Иногда она плачет... Но это не ядовитые слезы безнадёжности. Это избыток чувств. За все, что дала ей жизнь, она благословляет ее. Она ее любит, эту прекрасную, грозную жизнь.

Но как хороши дождливые вечера в деревне! Они сидят вдвоем на террасе. Дробно падают капли на крышу, шелестит и шуршит парк. Самовар шумит на столе. И во всех этих звуках есть какой-то свой убаюкивающий ритм... Она шьет в пальцах своими искусными ручками бывшей золотошвейки. А Муратов читает ей вслух.

Надежда Васильевна еще в доме Репиной полюбила книгу. Она плакала над стихами Козлова, над горькой судьбой Натальи Долгорукой. Репина подарила ей также книгу стихов Кольцова, незадолго перед тем вышедшую в свет. С того именно времени и началась двойная жизнь, которую до могилы суждено было вести Надежде Васильевне. Стоило ей в своем подвале зажечь свечу, как яркая фантазия переносила ее в другой мир... Надежды Шубейкиной уже не существовало. В темной рясе чернеца она страстно молила небо потушить пожар мятежной души. «Большой Владимирской дорогой, в одежде сельской и убогой» она шла ночью, одинокая и беззащитная, и смерть была в ее сердце. Она скакала

по степи, сторожила табуны, глядела в звездное небо, переживая мечты прасола-поэта...

В редкие минуты досуга, — больше ночью, — она читала все, что интересовало публику того времени, потому что это читала Репина: романы Павлова, Полевого и Рафаила Зотова. Ее пленял Лажечников, его страшный *Ледяной дом*, от которого в душу веяло мраком бироновщины. Она горькими слезами плакала над *Басурманом*. Даже дедушке и детям читала его вслух. У Репиной же она нашла кумиров двадцатых годов: *Ивана Выжигина* Булгарина, *Юрия Милославского* и *Рославлева* Загоскина и — романы Марлинского, затрепанные, зачитанные до дыр. Когда нечего было читать, она тащила в подвал разрозненные альманахи и старые номера *Сына Отечества*. Стихи Пушкина иногда попадались ей, но о молодом поэте Лермонтове она ничего не знала, потому что в доме ее покровительницы не было ни *Отечественных Записок*, ни *Современника*.

Поступив в харьковский, а затем в киевский театр, Надежда Васильевна за усиленной работой и недосугом совсем отстала от чтения.

И какой яркий мир новых наслаждений подарил теперь Муратов этой утонченной и страстной душе! Он выписывает *Отечественные Записки*, *Современник*, *Библиотеку для чтения*, *Вестник Европы*... Салаев и Глазунов присылают ему все литературные новинки, в том числе *Репертуар европейских театров* и *Пантеон*. Он читает вслух пьесы и отмечает

для будущих бенефисов Нероновой то немного, что имеет литературную ценность или сценические эффекты. Но это все-таки дело... Вечера посвящены поэзии.

Муратов преклоняется перед Пушкиным, которого знал лично. Он был за границей, когда Пушкин был убит. И это горе так сразило его, что у него тогда именно начались первые сердечные припадки... Они читают *Пир во время чумы*, *Моцарта и Сальери*, *Каменного Гостя*, *Скупого Рыцаря*... Муратов читает артистически. Голос его дрожит от волнения, когда он декламирует своего любимого *Евгения Онегина*. А у нее замирает рука с иглой на шелковом цветке, и взор застилается слезой. Она плачет над бедной Таней, для которой «все были жребии равны...». Боже, что за чудные часы!.. Как могла она так долго жить на свете, не зная о *Евгении Онегине*... Она так волнуется, читая *Героя нашего времени*, что даже не спит по ночам. И Муратова пугает эта впечатлительность. Он забывает, что страдания *Веры*, ревность *княжны Мери* ей так близки и понятны... Он не знает, что, думая о блестящем *Печорине*, она вспоминает ничтожного Хованского...

Муратов знакомит ее и с Гоголем, которого она знала только по *Ревизору* и *Тяжбе*. Она хохочет до слез, как настоящее дитя, над *Сорочинской Ярмаркой* и *Вечерами на хуторе*. Дивная поэзия чарует ее несказанно... Ей нравится фантастический Вельтман и его *Приключения*, почерпнутые в море житейском, и полный злой иронии *Тарантас* Соллогу-

ба. Но всему она предпочитает стихи Лермонтова, его *Мицыри*, его *Песнь о купце Калашникове*. И как долго она не знала, что есть на Руси такой чудный поэт!

Муратов страстный поклонник Белинского. Он находит в своей библиотеке его восторженные статьи о Мочалове, писанные почти пять лет назад. И Надежда Васильевна целует пыльный журнал, кидается на грудь Муратова, плачет от восторга.

Она гордится любовью Муратова. Она радостно признает его превосходство. Она заставляет его рассказывать о заграничной жизни, о картинах и статуях... Как хорошо будет съездить туда вдвоем на будущий год! Увидать Нюрнберг, которым так восторгается Муратов, берега Рейна, Гейдельберг, где он учился... побывать в Италии, пожить в Риме, где Муратов пробыл два года, где он сдружился с русскими художниками. Как в доме Репиной когда-то она жадно присматривалась к новой чуждой жизни, все подмечая, все усваивая, так и здесь она жадно учится, во все вникает, инстинктивно выбирая то, что пригодится ей потом для ее творчества, ежедневно обегая свой внутренний мир, расширяя свой кругозор, раздавая природный ум. Она чувствует, что растет, и что всем она обязана своему просвещенному другу...

Муратов в отчаянии. Почта принесла горестную для России весть: в Пятигорске на дуэли убит Лермонтов. Муратов

рыдает, как женщина, потерявшая самое дорогое в мире...
– В расцвете сил, – твердит он, захлебываясь слезами. – Сколько недопетых песен погибло вместе с ним! Сколько несозданных образов... Сколько слов, которых никто уже не скажет... О, дорогая моя!.. Вся Россия должна надеть траур... Мы уже не дождемся такого поэта».

Конец идиллии наступает внезапно.

Муратов уехал по делам в город в душный августовский день, после сытного завтрака. А к вечеру кучер привозит его полумертвое тело. Он без сознания. У него удар.

Он лежит в постели, страшный, неузнаваемый, с перекошенным сине-багровым лицом. Цирюльник пустил ему кровь. Два доктора дежурят у постели. Надежда Васильевна, еле оправившись после продолжительного обморока, теперь с глазами, полными отчаяния, сидит у изголовья больного... Она отправила курьера в Петербург, к сыну Муратова. Жена его с дочерью и зятем все еще за границей... Надежда Васильевна с ужасом ждет того часа, когда ей придется бросить больного на руки этого чужого ему сына и покинуть эти стены, где она была так счастлива.

Двое суток она не ложится, сама следит за цирюльником, ставящим пиявки, посылает за священником, служит молебны, все еще борясь, все еще надеясь...

Муратов умирает, не приходя в сознание.

И вот она опять одна в мире, среди врагов и завистников, с неистребимой жаждой ласки и привязанности, с мечтой о счастье, неосуществимой на земле.

Воспоминания о Муратове с такой болью охватывают ее, когда она возвращается в свою квартиру, что она рада покинуть Харьков.

У нее заключен контракт с киевским театром. Муратов уже снял чудесную квартиру под Липками. И они мечтали, как весной будут слушать соловьев, сидя у окна...

Все теперь кончено. Все...

И опять сцена, искусство – «этот величайший обман жизни» – дает ей забвение и отраду. Она чувствует, как бледнеет ее горе, как распрямляется ее Душа. Но она тоскует о Муратове. Ей холодно в ее одиночестве. Перед ней лежит целая жизнь с тысячами возможностей. Она это знает. Но где встретит она такое всеобъемлющее, прекрасное чувство, какое горело в душе Муратова? Она глубоко уверена, что прошлое счастье не повторится.

Студенты, как и в Харькове, обожают артистку. Каждый выход ее дает ей триумф. И не страшны ей теперь зависть и интрига, которые идут за ней по пятам.

У Надежды Васильевны в театре не одни враги. Есть поклонники... Самый заметный из них комик Мосолов. Его все любят. Даже в этой среде больных самолюбий и раздутых тщеславий у него нет врагов. Красивый, остроумный, жизнерадостный, талантливый и беспутный, как Кин, он – лю-

бимец публики. Каждый вечер компания купцов поджидает его в театре, везет потом на тройке за город, поит шампанским в трактирах. А он смешит их еврейскими и армянскими анекдотами. И удивительнее всего, что в этой компании есть и богатые евреи. Они первые хохочут, глядя на уморительные ужимки Мосолова, и любят его без памяти. Его бенефис всегда праздник в городе. Его засыпают подарками. Но Мосолов всегда без гроша.

Надежда Васильевна никогда не видала Мосолова пьяным. Нередко он заходит к ней обедать и вносит с собой смех и беззаботное веселье... Верочка всех дичится, но Мосолову она кидается навстречу, ласкает ручонками его бритое лицо. Всегда у него в кармане какой-нибудь пустячок для ребенка: орех, конфета, игрушка... Надежду Васильевну трогает эта доброта.

Почти каждый вечер они играют вместе в водевилях с пением и в легкой комедии, где Мосолов бесподобен.

Билетами запасаются заранее, когда Неронова играет в водевиле *Кетли* главную роль, созданную Н. В. Репиной, а Мосолов *Рютли*... В *Барской спеси*, или *Анютины глазки* она играет скучающую барыню, которая кокетничает с мужиком, а роль *Ивана* неподражаемо исполняет Мосолов. Но он одинаково хорош и в амплуа любовников в комедии, и в ролях светских франтов, которыми славятся в Москве Ленский, а в Петербурге Самарин. У него гибкий, яркий талант и красивый голос. Он играет *Хлестакова* в свой бенефис, Нероно-

ва – *Марью Антоновну*... Надежда Васильевна испытывает настоящее наслаждение, работая с ним.

Но стоит ему заговорить с нею о любви, она начинает его вышучивать... Разве такой беспутник может любить?.. Он живет разом с двумя женщинами... и они каждый день скандалят и грозят отравить друг друга... Сплетни?.. Нет... Зачем отпираться? Ведь об этом весь город знает.

– Но это не любовь, – убежденно возражает он.

– Скажите, Сашенька, есть ли хоть одна женщина, от которой вы отказались бы?

– А люблю только вас... Вас одну... И если б вы захотели...

– Бог с вами!.. ничего мне от вас не нужно! Ни минуты спокойной не имела бы я, любя такого волокиту...

– Разве вы ревнивы?.. Вы... такая гордячка...

– О!.. Безумно ревнива... Не скажу ничего, а сама руки буду грызть... головой о стену стучаться...

Его синие глаза загораются.

– Надежда Васильевна... выслушайте меня... Бросьте шутить!.. Не мучьте.

Она нервно, истерически хохочет.

– Ах, Сашенька! Молчите... а то мы поссоримся... Вся дружба пойдет врозь... Не надо мне вашей любви... Настродалась я из-за любви... Довольно!.. И потом (голос ее дрожит, и лицо становится скорбным и трагическим)... Я уже знала счастье, Сашенька... Меня любил один человек...

– Он уже умер, Надежда Васильевна...

– А!.. Вы уже слышали?.. Но забыть его я не могу...

Вся эта ваша молодая страсть – ничто перед его любовью! Это был бриллиант чистой воды, а вы предлагаете мне стразы... Довольно!.. Я была богачкой. Теперь я нищая... И все мое счастье в этих воспоминаниях, в моей Верочке и в сцене... Не смущайте моего покоя, Сашенька!.. Оставайтесь моим другом...

Он уходит, взволнованный этой исповедью гордой женщины. Но тревога его растет. «Не смущайте моего покоя, Сашенька...» – звучит в его мозгу. «И каким голосом сказано!.. И какими глазами взглянула... Себя выдала, и думает, что меня провела... Вся нервы, вся трепет, а хочет монахиней жить!.. Нет!.. Не отстану... Будешь моей...»

И он угадал. В сущности, он ее тип... Ей – брюнетке, смуглянке – нравятся именно такие хрупкие изящные блондины с белой кожей, с золотыми кудрями. В Мосолове есть какая-то почти женственная, неотразимая прелесть. Он умеет вкрадчиво ласкаться; с какой-то детской мягкостью, шутя, почти незаметно переступает границы дозволенного в отношениях с женщинами. И эта мягкость манер, голоса и взгляда – опаснее наглости. Ее не замечаешь, не боишься. Но она опутывает как сеть женскую душу. Это не душевная утонченность Муратова... Это чисто физическое обаяние, но оно странно волнует Надежду Васильевну... Иногда он ей снится. Он ласкает ее. Она ему покорно отдается... Она просыпа-

ется вся больная, разбитая. Все валится у нее из рук в такие дни. Она раздражается из-за пустяков. Плачет без причины. Сердится на Мосолова. Презрительно его вышучивает.

– Господа! – говорит на репетиции антрепренер, взволнованно потирая руки. – Я должен сообщить вам новость... К нам едет...

– ...ревизор, – невозмутимо подхватывает Мосолов. И все хохочут.

– Нет, не ревизор... а почище... К нам едет известный трагик... Только что получил его ответ... Будет играть у нас целый месяц.

– Кто же это?.. Кто?

– Садовников... Глеб Михайлович...

– Тот, что на московской сцене?

– Тот самый... Ходу ему там не давали... Да и характерец у него, я слышал, крутенок... Вот он на год отпуск взял... Читали вы, с каким успехом он гастролирует?.. Шейлок, Король Лир... Макбет... Завтра же пушу анонсы... На вас, Надежда Васильевна, рассчитываю... Вы ему достойной партнершей будете!

Она задумчива весь день... Так вот где и как придется им свидеться вновь!..

Надежда Васильевна все дни волнуется. Как-то отнесется к ней Садовников?.. Надо быть гордой. Надо показать ему,

что теперь они ровня, и что прежней наглости она не допустит.

Когда она приходит за кулисы на первую репетицию, она видит знакомую плотную спину, высокую фигуру, широкий, упрямый затылок... Почему стукнуло ее сердце?

Режиссер и антрепренер говорят с ним. Увидали...

– Вот и ваша блестящая партнерша, Глеб Михайлович!.. Наша талантливая Надежда Васильевна Неронова.

Садовников быстро оглядывается.

– Наденька... Голубушка... Да неужели это ты? – голосом, полным чарующей ласки, говорит он. Идет навстречу и протягивает ей обе руки.

Она покраснела, растерялась... Улыбается смущенно, как девочка...

– Красавица какая стала!.. Знаменитость... И весь город у твоих ног... Слышал, слышал... И в Москве о твоём успехе говорят... Репина торжествует... Кстати... ведь она сцену-то бросила...

– Да, она писала мне... Какая потеря для театра!.. А как Павел Степанович? Его здоровье?.. Что играет сейчас?

– Э, голубчик!.. Под гору пошел наш Павел Степанович... Совсем не работает... Даже больно за него... Ругают его в журналах и газетах на все корки... Публика добрее... Помнит старые заслуги.

– Боже мой! Но ведь он еще молод!.. Ему нет сорока пяти... Какие старые заслуги?.. Что вы такое говорите?

– Не протянет он долго с такой жизнью...

Режиссер перебивает их каким-то не терпящим отлагательства вопросом. Надежда Васильевна отходит, прячется за последнюю кулису. Не может удержать слез.

Кто-то кладет руку на ее плечо.

– Полно, Наденька!.. Ты меня, дурака, прости... Зря я тебя расстроил... Может, он и нас с тобой переживет, – у самого уха, обдавая ее затылок теплым дыханием, мягко шепчет он. Потом покровительственным жестом берет ее под руку. – А теперь, деточка, пойдем репетировать! Нас ждут...

Отношения намечены сразу, помимо ее воли. Но она не протестует. Ей приятна эта близость. Вспомнилось прошлое... все связанное с московской сценой. Кто из нас не любит прошлого? Не прощает ему его обиды? Не благословляет за его радости?

К ней подходит Мосолов. Лицо у него непривычно злое.

– Вы давно знакомы с этим... барином?

– Наденька... Будет кокетничать! – смеется Садовников. – Мы тебя ждем.

Она опять краснеет, как девочка, от этого тона. И покорно идет на место.

На сцене в первый раз она замечает, что Садовников изменился.словно постарел. А ведь ему всего тридцать. Лицо обрюзгшее, под глазами мешки. Неужели пьет? Взгляд стал тяжелым, выдает его подлинную натуру. Но что за улыбка!..

– Вы разве родственники? – настойчиво допрашивает ее

Мосолов. Его изящные ноздри раздуваются. В смеющихся всегда глазах видна тревога. – Почему вы мне ничего об этом не сказали?

– Какой вы чудак! Откуда вы взяли, что мы – родственники?

– Но как же он смеет говорить вам ты? – страстным шепотом срывается у него.

Она звонко, нервно смеется.

– Вы, кажется, ревнуете, Сашенька?

– Не «кажется», а безумно... Что это значит?

– Отстаньте!.. Объясню потом.

– Это что за Антиной?.. Познакомьте! – говорит гастролер.

– Наш комик Мосолов, – рекомендует режиссер. – Любимец публики, талантливый партнер Надежды Васильевны...

– А-га!.. Теперь понятна склонность ваша к Наденьке...

– Откуда вы заметили эту «склонность»? – дерзко спрашивает Мосолов.

Гастролер ядовито смеется и снисходительно треплет комика по плечу. Тот закусил губы. Голубые, всегда смеющиеся глаза стали злыми и темными.

Репетируют *Короля Лиры*... Все подтянулись, все взволнованы. Даже на счетке Садовников дает настоящий тон и невольно увлекает других. Надежда Васильевна – *Корделия*. Мосолов – *шут*. С легким, невольным трепетом вслушивается Надежда Васильевна в интонации гастролера, ловит его

беглую мимику. Она чувствует перед собой могучий талант, какую-то «черноземную» силу... Кто мог это думать четыре года назад? Недаром имя его гремит в провинции... Какое наслаждение будет играть с таким артистом!

И как мягки все его замечания! Как бережно относится он к самолюбию маленьких актеров!.. Все им очарованы. Репетиция кончилась. Гастролер целует руку Надежды Васильевны.

– Позови меня к себе завтра, Наденька, вечером! Угости чайком, – просит он. – Нельзя ли только... без пажа?

Она вспыхивает до корней волос.

– Какого пажа?

Он смеется. И опять, как встарь, она ловит жадную искру в его глазах. Или это ей показалось? Сердце тяжело бьется. А он говорит:

– Нынче прибежал бы с радостью. Да боюсь, нехорош буду. Подпоют меня эти «театралы»... За город с ними еду. До утра прокутим... А отказать нельзя. Обидишь...

Проснувшись на другое утро, Надежда Васильевна долго лежит, закинув за голову руки. Безотчетная улыбка бродит по лицу ее. Почему так радостно на душе?.. Да, сон... Жаркий сон... Румянец заливает ее щеки... Ей приснилось, что гастролер и она... Нет... Не думать об этом вздоре!.. И какие только глупости снятся!

А сердце бьется все так же тяжело... Даже дышать трудно.

Она сама не сознает, что ждет репетиции. Сама не понимает, как горячи ее глаза, встречающие взгляд Садовникова.

Но нынче он угрюм. Все лицо опухло. Голос хрипит. Он рассеян и раздражителен.

– Голова болит, – говорит он, поймав руку Надежды Васильевны. – Здорово вчера хватили...

– Зачем вы пьете? – срывается у нее нежный упрек.

Зорко глядят на нее серые глаза из набухших складок и преждевременных морщин. Но что за взгляд! Что за улыбка!.. Надежда Васильевна опускает голову...

Он внезапно смеется, переворачивает ее покорную ручку и целует ее в ладонь.

Надежда Васильевна вздрогнула.

Так сильно, так мощно внезапно проснувшееся, дрожью охватившее ее желание... Она растерянно, почти с ужасом отстраняется и спешит к выходу.

– Нынче приду, после театра, – говорит он ей вслед. – Угостишь, Наденька, чайком старого приятеля?

Она бежит, не отвечая, опустив голову.

Неужели опять знойный бред овладел ею? Неужели снова жестокая страсть накинёт цепи на нее, свободную и одинокую, пригнет к груди ее гордую голову и потащит за собою по каменистому пути?

Она боится Садовникова. Нет, не его... Она себя боится... Грозная, но хорошо знакомая ей сила снова встает из тайни-

ков ее тела и хватает ее за горло. Дух борется. Дух протестует против темного ига, которым грозит ей страсть. А все нервы жаждут подчинения, жаждут радости покорного самозабвения... Все тело тоскует о давно не испытанной ласке. И, обессиленная этой борьбой, горько плачет артистка... Она предчувствует поражение духа и победу плоти.

В этот вечер она играет *Парашу-Сибирячку* Полевого. Это дочь ссыльного, которая тайком от отца бежит из Сибири в Петербург, чтобы вымолить у Александра I прощение преступнику. Садовников сидит в ложе, не спуская с нее глаз. Жуткий трепет весь вечер держит в напряжении ее нервы. По какому-то таинственному наитию в этой заигранной пьесе она находит новые звуки и жесты, создает новые штрихи. Но лучше всего она в мелодраме с прохожим. Это пантомима под музыку Болле. Параша прощается с родительским домом и плача уходит... Ни одного слова. Но лицо ее и жесты красноречивее слов.

Она видит, как Садовников перегнулся через барьер и с увлечением аплодирует. Выходя на вызовы, ему первому она кланяется. Разве не для него одного играла она нынче?

Все глядят теперь в эту ложу. Все шепчутся. Гастролера узнали.

За кулисами он целует руку артистки. А у нее пальцы похолодели. Лицо пылает. Ослабели ноги... От него пахнет вином. Ей это неприятно. Но какие чудные слова говорит он ей! Даже плакать хочется... Он искренне восторгается Неро-

новой. Добродушно вышучивает актера, игравшего ее отца, *Неизвестного*.

После драмы Полевого идет водевиль *Ножка*, переделанный с французского. Надежда Васильевна-Лиза очаровательна... Она точно создана для этого легкого жанра. Она кокетлива, грациозна, полна юмора. А главное – у нее дивная ножка, которой здесь необходимо щегольнуть. Все мужчины в восторге.

Мосолов – *сапожник Родэ* – великолепный партнер для Нероновой. Их обоих вызывают без счета...

Наконец свободна!..

Она спешит домой. Все ли приготовила Поля?..

Звонок. Вся смятенная идет она ему навстречу. Разлад терзает ее. Сердце настойчиво требует счастья. Рассудок твердит: «Безумие! Не поддавайся...»

– Ах, уж и порадовала ты меня, Наденька! – мягко говорит он, глядя ее руку и целуя в ладонь.

А Надежду Васильевну опять бросает в дрожь от этой интимной ласки.

– Садитесь, Глеб Михайлович, вон туда...

– Зачем туда? Я хочу рядом... Вот так... Эх, Наденька! Талантище у тебя какой!.. Свежесть, самобытность... Все ты по-своему рассказываешь... все по-своему толкуешь... Я уж это на репетициях заметил... И чудно, и хорошо... И веришь поневоле... Но чем ты меня удивила, это водевилем... Настоящая француженка... Какой заразительный смех! Сколь-

ко жизни!

– Я счастлива, что понравилась вам!

– Откуда это все в тебе, моя деточка? Права была Репина, когда в тебя сразу поверила! И такая обида, что не попала ты на казенную сцену теперь, когда Репина ушла!..

– Какая ж обида, Глеб Михайлович? Сами вы говорите, ходу не дадут, затрут... И десять у вас начальников... Вот же вы ушли...

– Так-то так... А как подумаешь, до чего быстро исчезает память о нас!.. Вот возьми писателей... Самый что ни на есть завалящий, и тот после смерти след по себе оставит, в журнале, в альманахе, в газетке даже... А мы что? Сколько талантов сейчас в провинции! Бабанин, например... но у него хоть голос слаб... А зато Рыбаков, Николай Хрисанфович... Не слыхала?..

– Слышала, да... Молодой трагик...

– Ну, куда перед ним наши Орловы, Волковы, Степановы, Усачевы, Толченковы?.. А о них ведь тоже пишут!

О Мочалове и о Щепкине не говорю... Белинский Мочалова гением называет. В *Гамлете* он разбирал игру его... То есть до малейшего оттеночка... Давно, положим, это было, когда ты еще за кулисами стояла... и слушала не только ушами, а и глазами вот этими горячими... всеми нервами слушала. Помнишь?.. Но пока на Руси будут актеры, не умрет имя Мочалова, как и имя Щепкина... А играй они в провинции, где нет журналов, рецензий, где нет наших це-

нителей и критиков, как Белинский, и Мочалов и Щепкин прожили бы и умерли бесследно. Та же судьба и Рыбакова ждет. Великая сила – книга да газета... Недаром Щепкин к писателям льнет... Тонкий он человек...

– Зачем же вы ушли из столицы?

– Не могу... Характер у меня тяжелый, Наденька... Не выношу хамов. И сам кланяться не умею... Ну, да ведь меня еще, может быть, и вернут, когда в провинции кричать обо мне будут... Тогда уж я им сам условия продиктую... Я трагик, Наденька, как и Николай Хрисанфович... Нами улицу не мостят. Они только *там* до этого не додумались. На ролях простачков меня выдерживали да дублировать разрешали с Орловым и Степановым... А ты, Наденька, не тоскуешь об этом?

– О чем?

– Да вот что помрем и забудут нас...

– Нет, Глеб Михайлович... Мне и мысли эти в голову не приходят...

– Вот ты какая! А зачем на сцену шла?

Она отодвигается.

– Как зачем? Разве мало счастья – играть? Да для меня вся жизнь в этом! Не для других играю. Для себя... А если еще и публика любит, больше мне ничего не надо!..

Он пристально смотрит на нее.

– Счастливица ты, коли так... Не грызет тебя, видно, зависть... Ну, подвинься! Дай ручки твои... Перецелую все

пальчики... Ха!.. Ха!.. Не бойся... Не откушу...

Он, смеясь, забирает себе в рот эти трепетные пальцы, сжимает их крепкими зубами. И Надежда Васильевна испуганно вскрикивает.

– Пейте же чай! Простынет...

– Ну, что мне твой чай!.. Я вино люблю... Это что? Лафит? Умница!.. Знала, чем угодить... Выпьем, что ли, за твою славу!..

– Не пью...

С огорчением она следит, как он пьет стакан за стаканом... Зрачки его сузились. Лицо потемнело. Он хочет ее обнять. Но она уже овладела собой и отстраняется.

– Не люблю, кто пьет, Глеб Михайлович! Пустите...

– А кто не пьет?.. Строптивая... Неужто так противен тебе?

– Нет... Вы мне очень нравитесь... но...

– А-га!.. А я, Надя, влюблен в тебя... Ей-богу! С первого мига влюбился...

Она недоверчиво улыбается.

Сверкнув глазами, он тянет ее к себе. Хочет посадить на колени. Ее тонкие брови хмурятся.

– Глеб Михайлович, я не привыкла к такому обращению...

– Извините, королева! – Он мгновенно выпускает ее из рук. – Вы короля боитесь? – вкрадчиво спрашивает он.

– Нет у меня никакого короля.

– Пажа не хотите огорчить изменой?..

– И пажа у меня нет...

– Жар-птица! – срывается у него. – Шутишь, Наденька?

– Нет, Глеб Михайлович... Я не из тех, кто шутит любовью.

– Вижу, что не из тех... Откуда ты взялась такая... трагическая?... А у нас, милая, все игра, все шутки... На сцене играем, в жизни шутим... Эдак легче: не хватит нас для искусства, если в жизни будем страдать. На сцене любим, ненавидим и плачем настоящими слезами. А для жизни ничего не остается. Точно лимон выжатый.

– Я... не умею легко жить, Глеб Михайлович...

Грусть в ее лице и голос, ее искренность, полное отсутствие кокетства – все это ново для пресыщенного человека. Это подкупает невольно.

– Или уж обожглась, деточка?

Она опускает голову.

– Плюнь, Наденька!.. Ты себе цены не знаешь... Вот сядем сюда, на диван... Положи голову мне на грудь. А я тебя обниму... Да не бойся!.. Я не насильник... Свистну, набежит ко мне этих баб, отбою не будет... Надоели... А ты славная... Особенная какая-то... Дай губки!

Как опьяненная, ничего не сознавая, Надежда Васильевна, закрыв глаза, дает себя поцеловать.

Поцелуй долог, сладок, мучителен. У нее захватило дух... Комната плывет вместе с диваном. И она точно проваливает-

ся куда-то... Уперлась руками в его грудь, отталкивает его...

– Довольно... Довольно... ради Бога!..

– Ого!.. Да вот ты какая!.. Зачем отталкиваешь? Кому бережешь себя, Надя?

– Вы меня не любите... Оставьте...

– Сейчас люблю... ей-богу люблю...

– А завтра?

– А почему я знаю, что будет завтра?.. Эх, Надя, Надя!..

Жить ты не умеешь... Терять такие минуты...

– Гордости во мне много, Глеб Михайлович... У меня характер несчастный...

– Гордости много... а сама дрожит вся... Нравлюсь тебе?

– Безумно! – срывается у нее.

Она встает, заломив руки. И отходит в дальний угол комнаты.

Трагик проводит рукой по лицу.

– Фу, черт!.. Вот так женщина! Даже не солжет... Ни минуты не поиграет с нашим братом... Только знаешь что, Надя?.. Правда твоя хуже всякого кокетства... Лучше бы ты играла мной... А теперь... трудно мне от тебя отказаться... Веришь ли?.. Весь хмель соскочил... Поди ты сюда!.. Да не бойся... Чудная какая!.. Разбойник я, что ли, с большой дороги?.. Коли я так нравлюсь тебе, все само собой выйдет... Я пальцем не шевельну, чтоб ты не плакалась потом... Сама отдашься...

Она глядит на него сверкающими глазами, стоя поодаль.

– Никогда этого не будет!.. Уходите... Слышите? Уходите, ради Христа!..

Истерические нотки дрожат в ее голосе.

Ему ее жалко. И он смутно боится чего-то.

Он чувствует что-то темное, стихийное в этой худенькой женщине. Что-то грозящее его покою, его свободе, его привычкам донжуана и холостяка. Говорит: «Уходите!..» А сама вся напряглась, как струна... Еще минута – и кончится истерикой... А тогда... он уже сам за себя не ответит.

– Ну, что ж? Уйду, коли гонишь, – мягко говорит он, беря со стола шапку. – Смотри только, Надя!.. Не пришлось бы тебе самой ко мне прийти... А я буду рад... А я буду ждать...

Он одевается в передней. Приотворяет дверь опять...

– А я буду ждать тебя, моя королева...

Исчез.

Схватив себя за волосы, она падает в подушки дивана. И воеет. Воеет в голос, как самая простая баба.

На другой день он встречает ее на репетиции, как ни в чем не бывало. Говорит с ней просто, задушевно, по-приятельски. А у самого в глазах скачут искры.

Она все такая же напряженная, словно натянутая струна. Только ноздри да губы вздрагивают, когда он, словно невзначай, берет ее за руку.

– Ох, и с коготком же ты, царь-девица! – смеется он за кулисами. А она смотрит на его губы. И ей безумно хочется

кинуться ему на шею.

Но их не оставляют вдвоем. Рядом вертится Мосолов. Па-ясничает, кривляется, не отходит от Нероновой. Ей и досад-но, и приятно в то же время...

– Что этому ферту надо? – со злобой спрашивает трагик Надежду Васильевну. – Чего он тут вертится?

Она истерически смеется.

Вечером они играют в трагедии Полевого *Уголино*. Он *Ни-но*, она Вероника.

Надежда Васильевна помнит в этой роли Мочалова. Бы-вали вечера, когда он потрясал своей игрой. Бывали удиви-тельные моменты, когда, например, он узнает о смерти *Ве-роники* или когда он встречается с ее убийцей. Но с врож-денным ему чувством меры и стремлением к жизненности и простоте он не мог любить эту роль... Да и вообще его иг-ра всегда была неровной. Он был весь в зависимости от сво-их впечатлений или настроений, от закулисных интриг, от неприятностей с начальством, от печатных отзывов, от се-мейных сцен... Болезненно реагировала на все его хрупкая, неуравновешенная, исковерканная жизнью душа. Иногда он холодно, даже нелепо декламировал, даже «пел» стихи, как и сейчас в трагедиях Расина и Корнеля «поют» их французы... Так что провинциалы, попавшие в театр в такой неудачный вечер и видевшие Мочалова единственный раз в жизни, вы-носили глубокое разочарование и не хотели верить, что ви-

дели перед собой величайшего гения русской сцены. Только в Шекспире трагический талант Мочалова поднялся во весь рост и проявил себя в полном блеске.

Нино-Каратыгин – этот истинный артист классической драмы – был лучше Мочалова. Он всегда владел собой. Каждый жест его был рассчитан, каждое слово взвешено. Здесь не было вдохновения. Но это было истинное искусство. Пусть холодом веяло от него в самых патетических местах! Но красива была его приподнятая декламация. Лживую риторику автора, ходульность чувств, неестественность положений – все, что инстинктивно отталкивало художественную натуру Мочалова, – Каратыгин умел использовать. Более эффектного *Нино* трудно было себе представить.

В игре Садовникова соединилось тонкое, обдуманное до мелочей искусство с мощным темпераментом. Надежда, Васильевна ошеломлена. Она не ожидала такой силы в гастролере. Как стремительный поток мчит и крутит ветку, так мчит он ее с собою на могучих крыльях таланта в тот таинственный мир, где страдают, любят и ненавидят созданные фантазией призраки людей... И она покорно отдается в его власть, опьяненная стихийностью этого темперамента. И сама не знает, наяву или во сне она любит его? Наяву или во сне он целует ее?.. Губы его говорят странные, нереальные слова, какие произносят только на сцене. А пронзительные, яркие глаза манят и говорят:

«Сама придешь, а я буду ждать...»

Она приходит в себя только в уборной. Как обидно проснуться!.. Пусть их вызывает весь театр, и вдвоем они выходят на поклон!.. Что ей эти восторги в сравнении с прекрасной жизнью вымысла, сладкий яд которой она пила сейчас полными глотками!

Но и в *Уголино* Полевого, и в *Бургграфах* Гюго, и даже в *Кларе д'Обервилль* слишком тесно такому таланту. Крылья его развертываются только в шекспировских трагедиях.

Садовников играет *Короля Лира*, Неронова – *Корделию*.

И ее она играет по-своему: женственной и нежной по внешности, но с душой мужественной, страстной, непримиримо гордой.

На угрозы разгневанного отца лишить ее наследства, она отвечает высоким, но твердым голосом:

Я молода... Но не боюсь я правды...

И далее:

Нет у меня просящих вечно взглядов,
Нет лстивой речи... И хоть я лишаюсь
Любви отца чрез то, но не жалею,
Что нет их...

В передаче Нероновой *Корделия* – личность, глубоко возмущенная раболепством двора... Это истая дочь Лира. Рано или поздно должны столкнуться на одной дороге эти две рав-

ные силы, эти две одинаковые натуры. Между ними возможна либо горячая любовь, либо безумная ненависть. И только в таком освещении зритель сразу чувствует правду замысла... Ему понятен этот разрыв между отцом и любимой дочерью, его проклятия, его отречение... Не простой каприз и не строптивость слышит Лир в ответе дочери. Он видит в них целый мир, чуждый ему, над которым у него, привыкшего повелевать, нет власти... И это в его семье, в его царстве, где все приникло, подавленное трепетом перед его величием?.. Где раздаются только льстивые, лицемерные слова...

Когда трагик входит в тронный зал, величественный, но стремительный, полный жизни, с упругими движениями, со сверкающим взглядом из-под нависших бровей, с львиной гривой седых волос, он – король с головы до ног. В презрительной складке его губ, в небрежном жесте руки, которым он приветствует вассалов, чувствуется безмерное упоение властью, упоение, достигшее предела, за которым уже начинается мания величия. Но Лир в игре гастролера этого предела не перешел. Это не безумец. Острый психоз его в третьем акте вызван нравственными потрясениями, неблагодарностью дочерей, которым он отдал царство и которые безжалостно выгнали его из своих владений... Великий ум помрачился. Но ненадолго. Богатая душа Лира не гибнет, а растет в несчастье.

Потеряв корону и царство, утратив все иллюзии отцовской власти и дочерней любви, больной и бездомный, поки-

нутый всеми, кроме шута, он впервые понимает всю бренность земного счастья и власти... Но великий, трогательный смысл шекспировской трагедии заключается именно в том, что Лир, перестав быть королем, становится человеком, в лучшем смысле этого слова. В бурную ночь в шалаше изгнанника Эдгара Лир внезапно находит клад, которого не могла ему подарить вся его безграничная власть. Этот клад — любовь к людям, гибнущим в битве с жизнью; к людям, которых Лир с высоты своего трона даже не замечал... Не из уст человека с помраченным рассудком, а из просветленной души вырываются слова:

Вы бедные, нагие несчастливцы,
Где б эту бурю не встречали вы.
Как вы перенесете ночь такую,
С пустым желудком, в рубище дырявом,
Без крова над бездомной головой?
Кто приютит вас, бедные? Как мало
Об этом думал я!.. Учись, богач!
Учись на деле нуждам меньших братьев,
Горюй их горем, и избыток свой
Им отдавай, чтоб оправдать тем Небо...

Этот Лир не жалок, а велик в широком сценическом рисунке гастролера.

В пятом акте Лир, больной лихорадкой, заснул, наконец, на богатом ложе, в военной палатке Корделии. Доктор уве-

рен, что крепкий сон вернет ему душевное равновесие... Корделия стоит, склонившись над его изголовьем, и всматривается в любимые черты. Лир просыпается и узнает свою дочь.

Это лучшая, самая трогательная сцена в трагедии. Вдохновенно играют ее оба артиста.

Неронова, стоя на коленях перед ложем, плачет, потому что вновь искусство и жизнь тесно слились для нее в этом миге. Она вспоминает дедушку, их любовь, ее обман, ее позднее раскаяние...

Лир страшен и в то же время жалок, как осиротевшее дитя, когда он вбегает на сцену с мертвой Корделией на руках. Даже ко всему привыкшие равнодушные профессионалы-актеры чувствуют себя растроганными... Успех большой.

И все-таки при таких двух исполнителях роль шута не пропала... Это трудная роль, требующая от актера не только комизма, но и драматического таланта. Мосолов в ней оказался выше всяких ожиданий.

Надежда Васильевна первая поздравляет его. Садовников говорит ему много лестного... Но Мосолов хмурится...

Гастролер играет через два дня на третий, но каждый вечер проводит в театре, где Надежда Васильевна постоянно занята с Мосоловым в комедиях и водевилях.

Идет *Лев Гурыч Синичкин*. Мосолов превосходно играет

Прындика. Садовников хохочет, как дитя. Перевесившись через барьер, он кричит Мосолову *браво!*.. За кулисами он говорит ему:

– У вас редкий комический талант... Отчего только вы так мало работаете?

– Я мало работаю? – весь вспыхивая, враждебно спрашивает Мосолов. – Из чего же это вы заключаете?

– Во-первых, вы идете под суфлера...

– А вы все наизусть валяете?

– Представьте, все наизусть!.. Разбудите ночью, дайте любую реплику из *Лира*, *Шейлока*, из чего хотите... Я вам тотчас отвечу.

– Вам и книги в руки!

– Ну, вот... Уже и обиделся... Как мало вы любите искусство!

– Нет, не обиделся... Только вы не пробовали играть в провинции, где чуть не каждый день новая пьеса, и дают одну-две репетиции... Ваши роли – наперечет...

– Напрасно сердитесь... Вы очень талантливый человек, и ваше место в столице... Только если бы вы любили ваше дело, как Наденька, например.

– Какая Наденька? – так и вскипает Мосолов.

– Неронова Наденька... Что это вы вдруг запомнили?..

– Она вам родственница?.. Невеста? Сестра? Жена?..

Садовников щурится на дерзкое лицо Мосолова. Потом весело смеется и поворачивается к нему спиной.

Что-то треснуло, крякнуло сзади.

– Александр Иванович, – вопит режиссер, подбегая к Мосолову, который изо всей силы хватил стулом об пол, так что ножки отлетели. – Помилосердуйте!.. За что же это вы казенное добро портите?.. «Александр Македонский был великий герой... но зачем же стулья ломать?»

Идут репетиции *Тартюфа*. Садовников играет заглавную роль. Неронова – *Эльмиру*. Затем назначен водевиль *Волшебное зелье*, где кокетливую вдовушку играет Неронова, а Мосолов – влюбленного в нее простачка-пастуха *Жано Бижу*.

Мосолов продолжает свою тактику.

Куда бы ни пошел Садовников, а Мосолов либо сзади идет, либо навстречу. На каждом шагу попадаетесь словно случайно.

За кулисами, на репетициях, после спектакля вечером он тут как тут, между влюбленными. Вертится, как бес, не давая им разговаривать, паясничает, рассказывает анекдоты, заразительно хохочет, вызывая невольный смех в грустном лице Надежды Васильевны. Мосолов, как Фигаро, вездесущ. Только трагик дернет звонок у парадной двери Нероновой, а уж из-за угла показывается щегольская фигура комика. И он весело раскланивается с соперником, снимая модный цилиндр.

– Вы к Надежде Васильевне?.. Прекрасно... Я тоже к ней. И с каждой такой встречей все темнее делается выражение

лица у Садовникова, и все угрюмее становится его обращение. Мосолов невольно, сам того не зная, разжигает страсть Садовникова. И развязка наступает быстрее, чем думал сам пресыщенный успехами у женщин гастролер.

Надежде Васильевне и смешно, и жутко. Не говоря с Мосоловым, она понимает его игру... Но, Боже мой, до чего он ее бесит иногда, этот глупый Сашенька с его непрошеным волокитством! Как хотелось бы хоть на минутку быть вдвоем с Садовниковым, одно прикосновение которого сводит ее с ума!

Как-то вечером в гостях у Надежды Васильевны соперники стараются пересидеть друг друга.

Хозяйка еле удерживает смех, видя их косые взгляды.

– Господа, простите!.. Но ведь уже третий час... Завтра репетиция... И я очень устала.

Оба уходят вместе.

– Вы в сторожа определились? – на улице грубо спрашивает трагик. – Что вам за это платят?

Мосолов, улыбаясь, вертит свою трость, которая со свистом рассекает воздух.

– Прекрасная трость! – говорит он. – Мне ее в Казани поднесли. Она, знаете, из бамбука... Как будто и легка, а здорово бьет...

Трагик, круто повернувшись, сворачивает на Крещатик. Мосолов, посвистывая, идет по Фундуклеевской.

Под праздник спектакля нет. Мосолов «закатился» с ком-

панией купцов. В трактире в общем зале он видит трагика, который пьет в угрюмом одиночестве за отдельным столиком.

– А!.. Глебу Михайловичу почтение! – кричит Мосолов, взмахивая цилиндром. Его увлекают в кабинет.

Через полчаса, «досидев» бутылку и прислушавшись к шуму в кабинете, трагик звонит и требует счет.

Он берет дрожжи. Через десять минут он уже у Нероновой.

Поля отпирает ему, как всегда с льстивой ужимкой, с хитрецей в улыбочке и взгляде.

– Дома? – сурово спрашивает он.

– Пожалуйте...

Трагик входит и останавливается в изумлении.

Надежда Васильевна лежит на ковре, а рядом с нею белокурая прелестная малютка теребит куклу и что-то поет.

Артистка поднимается испуганная. Сердце тяжело бьется.

– Откуда эта девочка? – хрипло спрашивает Садовников.

От этого тона вся кровь кидается ей в лицо. Она берет девочку на руки. Инстинктивно прижимает ее к груди.

– Это моя дочка...

– Доч-ка?.. Вот оно что!..

И он хохочет злым, циничным смехом. Она, растерявшись, смотрит на него. За дверью мелькнула и скрылась лисья мордочка Поли.

– А я и не знал, что у тебя дочка... Что же это ты такую

недотрогу-царевну из себя разыгрываешь?

– Вы пьяны? – побелевшими губами шепчет она.

– Мосолова дочка?.. То-то она с ним на одно лицо... ха!.. ха!.. Вот в чем дело... Так бы и сказала сразу... Зачем кани-
тель тянуть?

– Вон! – кричит Надежда Васильевна, кидаясь к нему. –
Вон сию минуту!

На этот крик вбегает нянька и уносит девочку. Надежда Васильевна бросается из комнаты. Истерические рыдания и крики доносятся к гостю. Он нахлобучивает шапку и уходит, тяжело ступая на пятку. Весь большой, грузный, сильный...

В десять утра на другой день он звонит опять. Отпирает Поля и прячет под ресницами прыгающие глаза. Из кухни пахнет пирогом.

– Барыня здорова? – спрашивает он, снимая пальто.

– Обождите, сударь... доложу... Может, они и не при-
мут...

Серые глаза загораются.

– А это видела?

И огромный волосатый кулак поднимается перед острой мордочкой Поли. Она мгновенно скрывается.

Без доклада артист идет прямо в спальню. Подходит к ахнувшей Надежде Васильевне и опускается перед ней на колени.

– Встаньте... встаньте!.. Что вы делаете?.. Глеб Михайло-
вич... голубчик...

– Не встану, пока не простишь... Скотина я перед тобой, Наденька... Пьян был...

Он крепко прижимает ее к себе. Она бледнеет и отодвигается.

– Прости меня, дурака. От ревности света не взвидел... Влюбился я в тебя позарез... пришибла ты меня, Наденька... Дай ручку!.. Не встану, пока не простишь...

Она и плачет, и смеется... Он берет ее голову в свои руки и целует все ее лицо.

– Отчего не созналась, что с Мосоловым живешь?

– Да и не думала я никогда с ним жить!.. Откуда вы взяли?.. Ну встаньте же!.. Сядьте вот тут... Поля войдет...

– Что за притча? – удивляется трагик, наклоняясь над девочкой, которая сладко спит на постели матери.

– Одно лицо с Мосоловым...

Пораженная, вся пронизанная каким-то внезапным жутким откровением, Надежда Васильевна вглядывается в маленькое личико... Какая странность!.. Действительно, сходство большое... И это потому, конечно, что Мосолов похож на Хованского. Тот же тип... «Как я этого не увидела сразу?» И сердце ее стучит.

Ревниво следит за нею трагик. Когда она выпрямляется и отходит от постели, он обнимает ее внезапно с силой и страстью, от которой старится и темнеет его лицо. Она чуть не падает от волнения, но не дает себя поцеловать.

– Зачем отталкиваешь? – грустно шепчет он. И обессили-

вающая жалость крадется ей в душу. – Ведь любишь меня, Надя?

– Люблю, да вы меня не любите...

– Влюблен... Честью клянусь... Сон потерял, покой...

– Ах, Глеб Михайлович!.. Такой любви мне не надо... Ни во грош я ее теперь не ценю!..

Она вырвалась из его рук и отходит с пылающим лицом.

– А что же тебе нужно? – вдруг обрывает он, закипая злобой.

– Муж нужен мне, а не любовник. Друг и товарищ, на которого опереться можно... Видите сами? У меня дитя...

Он презрительно свистит.

Молча глядит она на него. И сердце его сжимается от этого немого укора. Боже мой! Что за лицо!.. Все глазами сказала...

– А Мосолов предлагал на тебе жениться?

– Пальцем поманю, прибежит и женится... Только не нужен мне Мосолов... Вас люблю, Глеб Михайлович!

Злоба опять закипает в нем.

– Черта с два!.. Толкуй!.. Кабы любила, не торговалась бы... Прощай, Надежда Васильевна! Поищи кого глупее... С меня будет...

Два дня встречаясь в театре, на репетициях, они не говорят. Вечером играют вместе в *Бургграфах*. И опять сладостный обман сближает их руки, зажигает их взгляды, кидает

их в объятия друг другу. И опять опьяненная Надежда Васильевна слышит слова любви. Сон или явь?..

Она ждет его после спектакля. Ждет каждый вечер, но он не идет... А скоро конец его гастролем. Она плачет по ночам. Мечется без сна. Горячо молится... Ничто не помогает.

В субботу, после репетиции, трагик, злой, взвинченный, больной от тоски и страсти, мечется по своему номеру в гостинице, на Крещатике.

Легкий стук в дверь.

Он смотрит и глазам не верит. Входит Надежда Васильевна, слабая, больная, бледная. Глядит на него одну секунду покорными, скорбными глазами. Потом падает на стул у двери...

– Ты?.. ты?.. Наденька?

Он робко подходит, почти на цыпочках, все словно боясь проснуться. Берет ее за плечо. Потом с тем же изумлением, почти страхом, поднимает ее опущенную голову. Долго-долго смотрят они в зрачки друг другу...

– Пришла, – рыдающим шепотом говорит она. – Нет сил больше... измучилась...

– Наденька... Радость моя желанная...

Вечером он звонит у подъезда. Она знает его нетерпеливый звонок. С криком заглушенной радости кидается она в переднюю. Сама отбрасывает крючок. И плачет от счастья на его груди... Ведь она так мучительно ждала его... Если

он поспешил к ней теперь, нынче же, добившись всего, чего хотел, – значит, он любит!.. И ей не стыдно, не страшно...

– Быть по-твоему! – говорит он, больно прижимая ее к груди. – Никогда жениться не думал. Люблю свободу... Но с судьбой не поспоришь. Жить без тебя не могу!.. Назначай сама день свадьбы... Меня в Казани ждут...

О, какое жгучее, опьяняющее счастье...

Надежда Васильевна сияет. Непосредственная, импульсивная, страстная, она совсем не умеет скрыть своих чувств. Лицо ее выдает ее тайну. Когда она говорит с Садовниковым, все ее жесты, вся ее фигура полны трогательной покорности. Ее жгучие глаза следят за ним, ловят каждое его движение.

Мосолов насторожился. Все эти три дня он кутил с купцами. Перед спектаклем его обливали холодной водой. Его нежное лицо распухло. Надежде Васильевне противно на него глядеть.

А тут, как нарочно, опять идет водевиль *Ножка*. Мосолов в роли сапожника *Роде* снимает мерку с ноги Нероновой, играющей его жену – *Лизу*. Он так сильно на этот раз жмет красивую, маленькую ножку артистки, что та, забывшись, чуть не вскрикивает... Потом кровь кидается ей в лицо. Он видит ее сверкающий, гневный взгляд.

За кулисами она оборачивается к нему враждебная, неприступная.

– Как вы смеете так забываться?! Кто я такая?.. Арфянка?.. Вы забыли, что сцена – не трактир?

– Прошу вашей руки, – мрачно и твердо говорит Мосолов. Она на мгновение теряет способность говорить.

– Что?.. Что такое?

– Прошу вашей руки... потому что... не могу жить без вас...

– Это и видно! – враждебно перебивает она. – Три дня кутить с арфянками... Хороша любовь!

– Это с горя... Дайте мне надежду, и я стану другим человеком...

Есть что-то в его голосе, отчего смягчается ее сердце.

– Я люблю другого, Сашенька, – просто и искренне отвечает она. – А в вашу любовь не верю...

– Надя... Скоро ты? Я ухожу, – раздается позади повелительный голос.

Вздрогнув, она бежит к уборной.

Режиссер, проходя через сцену, где рабочие убирают декорации, видит какую-то мужскую фигуру. Упершись лбом в стену, закрыв лицо руками, фигура стоит неподвижно. По белокурым выующимся волосам он узнает Мосолова.

Александр Иванович... Никак это вы?

Тот оборачивается. Режиссер видит воспаленный, мутный взгляд. Ему не по себе от этого взгляда. Можно ли было допустить, чтобы такой весельчак и сангвиник...

– Что мне теперь делать? – хриплым шепотом спрашивает

Мосолов не то у него, не то у себя.

– Что такое? – Его убить?.. Себя убить?..

– Господи, помилуй!.. Александр Иванович... Вы до зеленого змия, миленький, допились...

– Вы их видели сейчас?..

– Кого??

– Вместе вышли... Он кликнул. А она, как собачка, за ним побежала...

– Ах, это вы вот о чем... Да ведь он женится на ней.

– Кто женится?.. Кто?..

– Ой, батюшки!.. Пустите руку-то... Вот сумасшедший!.. Я тут при чем?.. Сам Садовников мне нынче сказал: «Поздравьте меня... – говорит. – Женюсь на Наденьке... Скоро увезу ее от вас... Неустойку плачу...» Я, миленький мой, оторопел совсем... Подумайте, если...

Не дослушав его, Мосолов кидается к выходу.

Весь репертуар приходится изменить. Мосолов «закрутил».

Идет последняя репетиция *Тартюфа*.

Вдруг входит Мосолов, бледный; обрюзгший, но все-таки изящный, все-таки красивый. Все теперь знают о предстоящей свадьбе. Мосолова жалеют. Но никто не решается с ним заговорить. Он пьян. А во хмелю буен. Его боятся раздражать.

– Будете, что ли, играть в *Любовном зелье*? – спрашивает

его режиссер самым мягким тоном.

– Не буду, – отвечает Мосолов, делая величественный жест. Он садится в сторонке, разваливается, заложив нога на ногу. Он громко говорит какие-то двусмысленности, мешая репетировать, паясничает, критикует вслух.

– Потише! – кидает ему Садовников, сверкнув глазами.

Но он не унимается. Все – словно на горячих углях. Надежда Васильевна бледна, подавлена. В первый раз она догадывается, что за счастливым, легкомысленным смехом Мосолова скрывается кипучая, страстная натура. Она чувствует назревающий скандал, чувствует, нарастающую злобу Садовникова. Она рассеянна. Спала с тона. Все скомкала...

– Уберите вы его, или я отказываюсь играть! – злобно говорит Садовников антрепренеру.

Но Мосолов уже вскочил и выбежал за Надеждой Васильевной.

Он догоняет ее у двери уборной.

– Здравствуйте... Позвольте ручку!

– Сашенька, вы опять пьяны? – с кротким укором говорит она.

Раскачиваясь перед нею на каблуках, с мутным, воспаленным взглядом Мосолов цинично смеется.

– Эх, хороша Маша... да не наша...

Сзади шепчутся, хихикают рабочие. Шедшие мимо актеры останавливаются.

– Вы с ума сошли?

Она хватается за ручку двери, чтоб не упасть. Какие у него страшные глаза!

– Вы хоть кого с ума сведете... Зачем манили?.. Зачем обещали?..

– Что я вам обещала?.. Вы пьяны...

Она вся дрожит. Подбегает режиссер.

– Будет вам душить, Александр Иванович, – осторожно обнимая Мосолова, просит он. – Уходите, Надежда Васильевна... Уходите скорей!

Но Мосолов с налившимися кровью глазами старается оттолкнуть режиссера.

– Я ему голову размозжу... Этому столичному прохвосту! – бешено на весь театр кричит Мосолов. И лицо его страшно.

Его окружили. Его уводят. Он вырывается... Его хватают опять за руки. Уговаривают... Увели, наконец.

– Что за шум? – спрашивает Садовников, выходя с антрепренером из его кабинета. – Кто здесь кричал?

Все смущенно переглядываются.

Надежда Васильевна заперлась на ключ в своей уборной. Она плачет. Не от обиды, нет... Разве может обидеть женщину такая страсть? Ей жаль Сашеньку. Она сама не знала, что ей будет так жаль его... Но разве думала она когда-нибудь, что он ее любит серьезно... что он способен любить?..

Режиссер увозит к себе Мосолова. Он боится скандала. Он поручает артиста жене. Это миленькая, добренькая, жен-

ственная блондинка. Целый день ухаживает она за Мосоловым, словно за больным. Реакция наступила. И Мосолов плачет, как дитя, на плече молодой женщины. Его укладывают в кабинет, на софу, дают ему лавровишневых капель. До рассвета он спит без просыпу.

На другое утро Надежда Васильевна пьет чай. В передней звякнул звонок. Так робко, так жалобно... Это не Глеб Михайлович. Он звонит всегда сильно, нетерпеливо, как власть имеющий.

Сердце ее екнуло. Неужели Сашенька?

Так и есть. Он... Но Боже, какой жалкий, робкий, несчастный!..

Она хочет встать с кресла ему навстречу. Но он рухнул перед ней на колени, схватил ее руки, припал к ним губами.

– Сашенька... встаньте!..

– Богиня моя... Царица моя... На всю жизнь ваш раб!..

Прикажите мне умереть... умру, исчезну... Никогда больше не оскорблю. Люблю вас без памяти...

Он рыдает, как дитя.

И в мужественной душе артистки дрогнули какие-то ответные струны на эти женственные рыдания, на прелесть этих покорных слов, этих ласкающих интонаций... Господи, да как же это случилось, что он целует ее колени, платье, обнимает ее, целует ее лицо?.. Она силится встать, оттолкнуть его... Как сильны и цепки эти мягкие руки!.. Что-то знакомое в полузакрытых голубых глазах!.. «Хованский...» –

словно пронзает ее воспоминание, полное блаженства.

Вдруг она в ужасе хватается его руки.

– Встаньте... ради Бога, встаньте!.. Александр Иванович... вы с ума сошли?.. Ведь я замуж выхожу... я другого люблю... не вас...

А он смеется... так тихо, так вкрадчиво, так обаятельно смеется. Словно хочет сказать: «Сама ты не знаешь, кого любишь... Может быть, именно меня...»

Она встает с последним усилием воли, отталкивает его. В глазах темно. Она шатается.

– Уходите, ради Бога... Да не целуйте вы меня!.. Будет вам безумствовать... Сейчас войдет Глеб Михайлович...

Он ушел.

Она падает в кресло...

Что?.. Что случилось сейчас?.. Как могла она допустить эти поцелуи?.. Насилием этого не назовешь... Она не сердилась, не гнала. Она только умоляла... Но ведь она его не любит. Почему же так опьяняюще подействовала на нее его близость, его какая-то туманящая, засасывающая ласка?.. Она его всегда слегка презирала. Почему же так бьется сердце и пылает лицо?

– Эт-то что такое? – раздается гневный окрик. – О чем эти слезы?

Садовников стоит перед нею с ревнивой гримасой.

Он только что в переулке встретил Мосолова. Тот, улыбаясь, взмахнул цилиндром и, чуть не приплясывая, побежал

дальше.

Надежда Васильевна растерялась.

Вышла жестокая сцена...

Он бежит по комнате, сжимая кулаки, ругается, запрещает ей принимать Мосолова. Грозит избить его, грозит разорвать с нею и немедленно уехать... Она смиренно слушает и не пытается оправдываться. Она сама находит непростительным свое поведение. И в эту минуту ей так сладко чувствовать над собой господина; чувствовать грубую руку, которая сумеет посадить на цепь темные силы, которых она боялась еще в ранней юности, которые смутно грозят ей в тревожных снах и бессознательных порывах. «Я – подлая, грешная...» – думает она.

Вдруг она слышит:

– Да, впрочем, чего от тебя ждать?... Сама ко мне пришла... Завтра сама пойдешь к Мосолову...

Она встает, словно под ней пружину дернули. Глаза точно вдвое больше стали... Что он сказал сейчас? Это он ей говорит? За ее бескорыстный порыв? За то, что отдалась, не торгуясь, измученная любовью?

Молча поворачивается она. Идет в спальню и запирается.

Дверь подъезда хлопает так, что стены дрогнули.

– Батюшки! Вот так хозяин! – срывается у Поли. Она бежит в переднюю. Потом в спальню.

Барыня сидит, как каменная. Не шелохнется... Точно прислушивается к чему-то, расширив удивленные глаза...

Что-то уходит из души, оставляя за собой кровавый след... Уходит медленно, но безвозвратно... И хотелось бы крикнуть: «Подожди!» Но чувствуется, что все бесполезно...

Уходит Любовь...

Это случилось за день до нового спектакля.

А наутро, перед генеральной репетицией, Садовников звонит к невесте. Он пьян, и пугливо шарахается Поля, которой он бросил на плечи шубу.

Верочка в гостиной играет на ковре с котенком. Она до странности боится почему-то Садовникова... Увидев его красное лицо и воспаленные глаза, она испуганно вскрикивает.

В непонятном, казалось бы, бешенстве артист пнул ее ногой...

– Барин... Барин... Да что вы? Побойтесь Бога! – вопит нянька...

Девочка падает на ковер, закатив глаза, в нервном припадке.

Вбегает Надежда Васильевна.

– Что?.. Что здесь такое?.. Верочка!..

Садовников стоит среди комнаты подбоченясь и хрипло смеется.

– Шуму-то... шуму-то сколько из-за какого-то щенка!..

– Ка-кого щен-ка?

Надежда Васильевна хватается за стул, чтобы не упасть.

– Да из-за твоего... ублюдка...

Она выпрямляется, как развернувшаяся пружина.

– Вон! – говорит она, почти шепотом, почти потеряв голос, но жестом королевы указывая на дверь.

– Что т-т-ак-кое?

– Вон! – вдруг бешено кричит она, словно проснувшись.

И, как дикая кошка, прыгает к нему на грудь...

– Проклятый... проклятый... уйди... задушу...

– Ппо-слу-шай... Надя, – бормочет он, испуганный ее искажившимся лицом, ее безумными глазами.

– Вон!.. Вон сию минуту... Нянька... Поля... Хозяина кликните... будочника... Вывести этого мерзавца!..

Она хватает на руки Верочку.

– Да ты с ума сошла?

Хмель соскочил с него. Он с кулаками кидается на любовницу.

Она ждет, держа ребенка у груди, глядя на него с ненавистью, стиснув зубы.

С визгом Ненила и Поля бросаются между ними.

Садовников запнулся о ковер и грузно падает.

С истерическим криком Надежда Васильевна выбегает из гостиной.

В театре переполох. На стене висит анонс, что, по внезапной болезни гастролера, трагедия Шекспира заменяется любимой пьесой публики *Лев Гурыч Синичкин*. Дочь Синичкина *Лизу* играет дублерша Нероновой. Большая часть публи-

ки вернула билеты в кассу.

На самом деле Садовников пьет, бушует и безобразничает в трактире.

А Неронова больна. У нее жестокая мигрень. Поля прибегает за кулисы. Барыня головы поднять не может с подушки. Просит Мосолова зайти к ней вечером, после спектакля. С прыгающими глазами она по секрету передает всем, что барыня прогнала жениха...

«Может ли это быть?..» – спрашивает себя Мосолов, грядируя перед зеркалом в уборной. Руки его трясутся.

Он входит в полутемную спальню Надежды Васильевны еще со следами грима на лице, с большими, сверкающими от черного карандаша глазами. Он подходит к постели и опускается на колени.

Надежда Васильевна протягивает ему слабую, влажную руку. Она раздета. Голова ее завязана полотенцем. Пахнет уксусом.

– Спасибо, Сашенька, что пришли, – слабо, печально говорит она.

Он покорно целует ее руку.

– Приказывайте, богиня моя!.. Я слушаю...

– Сашенька, голубчик... теперь я ваша... на всю жизнь...

– Надежда Васильевна!!!

– Вы добрый человек... знаю... Вы будете Верочке настоящим отцом... Полно... не плачьте!

Она гладит его по голове, как ребенка. Он поднимает на

нее сияющие прекрасные глаза. Потом страстно прижимается щекой к ее груди.

– Счастлив... Проснуться боюсь... Надежда Васильевна, ударьте меня!.. Не верю... Ей-ей, не верю...

– Так вы меня любите, Сашенька?..

– Боже мой!!!

– Не обманите меня только, голубчик!.. Об одном прошу... Я сама не лгу... И все прошу, кроме обмана... Если разлюбите...

– Я никогда не разлюблю вас!

– ...если измените...

– Я никогда не изменю вам... Что пред вами все другое!..

– ...все-таки придите и скажите смело, честно... Уважать вас буду за правду... Не упрекну... Нет заплачу... Только не лгите... Не топчите в грязь моей души...

Она плачет. И он клянется любить ее вечно и неизменно. Беречь Верочку, как свое дитя. Усыпать розами путь ее жизни.

Весь следующий день она лежит, запершись у себя. Мигрень прошла. Осталась слабость. Она вздрагивает от каждого стука. Прислушивается к каждому звонку в доме.

Мосолов до репетиции, рано утром, трезвый и жизнерадостный, мечется по городу, что-то устраивает. И таинственно и лукаво смеются его глаза.

В три часа раздается звонок.

– Поля... Поля, – задыхаясь от ужаса, кричит Надежда

Васильевна. – Не пускать его!.. Не пускать!..

Лицо ее исказилось. Она вся дрожит. Она запирается на ключ. И, сжавшись в комок на постели, слушает, слушает всеми нервами.

– Надежда Васильевна... Наденька... Это я... Мосолов... Отоприте...

Она с криком падает на его грудь. С ней истерика.

Сидя на стуле, у ее постели, он ждет, когда она успокоится. Он кладет ее голову к себе на плечо. Гладит по щеке. И ей хорошо от этой ласки.

– Наденька... я все устроил...

– Неужели?..

– Послезавтра, в полковой церкви... после ранней обедни... Свидетели есть... Оглашение завтра...

– Из театра свидетели?

– Зачем?.. Двое купцов, мои приятели... Один доктор... да еще знакомый... Все улажено...

Проспавшись, наконец, после пятидневного дебоша, Садовников, весь распухший и страшный, звонит утром у подъезда Нероновой...

Поля отпирает дверь и хочет хихикнуть. Но уж очень грозен взгляд из-под набухших век. Да тяжел волосатый кулак актера.

– Доложи барыне... Жду! – мрачно изрекает трагик и грузно опускается на затрещавший под ним диван.

Ждет он довольно долго.

Наконец открывается дверь, и выходит Мосолов.

На нем красивый восточный халат, белая шелковая рубашка, сафьяновые туфли, шитые золотом, с загнутыми носками. Совсем как на сцене. В руках у него настоящая турецкая трубка – подношение поклонников.

Он останавливается на пороге, кланяется гостю и выжидательно улыбается.

Садовников глядит стеклянными глазами на соперника. Он даже забыл встать.

– Вы... к жене?..

Миг молчания.

– Прошу извинить... Она больна... И принять вас не может...

Трагик встает. Кровь кидается ему в лицо. Он ударяет кулаком по столу с такой силой, что лампа, покачнувшись, падает и разбивается вдребезги...

И со странной, зловещей тоской слышит этот жалобный звук притаившаяся за дверью Надежда Васильевна... «Разбилась... как счастье мое...» – проносится где-то в подсознании. И тонет опять в трепете тревоги.

– Какого черта вы тут делаете? – гремит мощный голос. И стекла слабо звенят в маленькой комнате. – К дьяволу!.. Где Надя?.. Я к Наде пришел...

Он двинулся было к двери. Но Мосолов загораживает ее своей изящной фигурой.

– Прежде всего, она вам – не Надя, а Надежда Васильев-

на Мосолова. Мы вчера обвенчались с ней!.. А... вы этого не знали?.. Вы, значит, не были в театре? А теперь, так как жена моя больна, и принять вас не может, то... прошу мне передать...

Он смолкает внезапно.

Трагик, пошатнувшись, хватается за край стола. Бархатная скатерть сползает. С глухим стуком падает на ковер бронзовая пепельница.

Садовников опускается в кресло, облокачивается на стол и прячет лицо в руках.

«Неужели плачет?..» – испуганно думает Мосолов, глядя на широкие плечи и упрямый затылок. Как беспомощен, как жалок сейчас этот большой человек!

«Боже, Боже... что я сделала? – рыдающими звуками шепчет за дверью Надежда Васильевна. – Сама... своими руками... Поддержи меня, Владычица!.. Ведь для Верочки... для нее одной...»

Как тихо в гостиной!.. Мосолов еле дышит. Угас блеск его глаз.

Садовников поднимает голову и тупо глядит перед собой.

Потом встает, оглядывается, не поднимая головы, с трудом ворочая шеей, как бык, готовый ринуться в бой. Взгляд его падает на загнутые носки красных сафьяновых туфель.

Он смотрит на Мосолова, словно видит его в первый раз. Мутен и тяжел этот взгляд.

«Пропил я мое счастье, – мелькают обрывки мыслей во

вдруг опустевшей голове. – Неужто из-за Верки?..»

Он чего-то ищет глазами. Потом идет к двери медленно, тяжело, как медведь, ступая на всю пятку.

Мосолов подает ему шапку. Только тут Садовников приходит в себя. Угрюмо глядит он опять в смущенное и все-таки жизнерадостное лицо.

– Н-ну!.. Совет да любовь!.. Дай ей Бог не скаяться... Меня она побоялась, что счастья ей не дам... В вас поверила... А вы-то... Э-эх!..

Он махнул рукой.

Дверь этого дома закрылась за ним навсегда.

Рядом в комнате, спрятавшись за занавес, Надежда Васильевна глядит на него, когда он идет под окном тяжелыми шагами, повесив голову. Весь такой крупный, могучий, созданный для власти!..

Она не замечает градом бегущих слез.

Она должна была так поступить. Должна была отгородиться от него высокой стеной... Такой высокой, чтоб из-за нее не слышать его мольбы о прощении. Такой, глухой стеной, за которой замрет беззвучно ее собственная тоска по нем, ее жгучие сожаления о потерянном... В тот роковой день разрыва с Садовниковым, не поняла ли она мгновенно, какое жестокое будущее готовит его ревность к прошлому не только ей самой, но, главное, ее Верочке?.. Себе обиду простить она могла. Ребенку – нет...

«Он замучил бы нас обеих... А Саша – ангел... Конеч-

но, ревность – такой ад... Кто не страдал сам, не поймет... Смерть легче... За что же клясть его теперь?.. Ах, если б только мне забыть его!.. Если б когда-нибудь забыть его ласку...»

Она рыдает, спрятав лицо в занавеси окна.

Мягкие руки обхватывают ее сзади. И кудрявая голова прижимается к ее плечу.

– Наденька... Милая...

– Оставь!.. Оставь меня! – жалобно кричит она. Убегает в спальню и запирается на ключ.

Он смотрит ей вслед, закусив губы. Глаза его уже не смеются.

Наконец назначен *Венецианский купец*, которого так долго репетировали... Садовников – *Шейлок*. Неронова должна играть Порцию. Но, имея в виду все происшедшее, деликатный антрепренер извещает ее письмом, что роль передана другой артистке. Мосолов, играющий *Грациано*, тоже освобожден от роли.

Антрепренер вздохнул свободно за все эти ужасные дни. Гастролер явился на репетицию трезвый, мрачный, но вполне корректный. Он сразу взял настоящий тон, и все подтянулись.

В утро генеральной репетиции Надежда Васильевна лихорадочно одевается и выходит.

– Куда ты, Надя? – спрашивает ее муж.

– Я играю завтра... До свиданья, Саша!.. Боюсь опоздать.

– Играешь?.. Ты?.. Ведь ты же отказалась...

– И глупо... Дело прежде всего... Наконец... мне будет легче так... Не держи меня, Сашенька, ради Бога!..

– Я пойду с тобой, – говорит он, и глаза его темнеют.

– Как хочешь, – устало бросает она. – Но, по-моему, раз ты идешь туда, почему бы тебе и не играть?

– Я роли не знаю, – капризно отвечает он.

– Выучишь... Ах, Саша, Саша!..

Она подходит. Кладет ему руки на плечи. Смотрит матерински нежным взглядом в его огорченное лицо. Потом целует его веки с длинными загнутыми ресницами. И глубокий вздох срывается у нее.

«Неужели пришла?» – в один голос удивляются актеры, услышав за кулисами голос Надежды Васильевны. И все с жестоким любопытством оглядываются на Садовникова.

Он не закончил фразы. Побледнел. Пристально смотрит за кулису, откуда несется ее взволнованный, короткий смех.

Вошла. И точно обожгла взглядом лицо Садовникова. На него первого, на него одного посмотрела... И тотчас отвернулась. И все без слов поняли, что она его не разлюбила, что она несчастна.

Мосолов слишком весел. Всем неловко от его веселья.

Шейлок и *Порция* до последнего акта трагедии не встречаются. Но *Грациано* – Мосолов – должен с первого же акта иг-

рать с *Шейлоком*. Все следят за ними. Они коротко, но вежливо раскланиваются издали, как незнакомые люди, встретившиеся в одной гостиной.

Порция и *Нерисса* выходят на авансцену.

Надежда Васильевна читает свою роль однозвучно, словно затверженный урок:

«Мозг может изобретать законы для крови, но горячая натура перепрыгивает через холодное правило...

Впрочем, такое рассуждение нектати теперь, когда мне предстоит выбрать себе мужа...»

И вдруг этот однозвучный голос начинает вибрировать:

«Увы!.. К чему я говорю – «выбрать»? Я не имею права ни избрать того, кого сама желала бы... ни отказать тому, кто мне не нравится...»

Спазм на миг перехватывает ее горло. Все встрепонулись, переглядываются... Смотрят на Садовникова. У него дрогнули веки. Ресницы опустились... Мосолов, чуть-чуть сощурившись, с застывшей улыбкой стоит у кулисы и глядит на жену.

«Не жестоко ли, Нерисса, что я никого не могу выбрать и никому не смею отказать?»

Этот страстный крик Порции отдается в душе у всех.

Глаза Мосолова темнеют. Напряженная улыбка похожа на гримасу. Он вспоминает. Через знойный бред его исступленной страсти выступают сейчас перед ним отдельные факты, о которых он почти не помнил, – впечатления, которые таились в подсознании. Вспоминает, что жена отдалась ему с покорностью и плакала в его объятиях. Но не ответила ни на один его поцелуй.

В душе его борются бешенство и стыд. Ревность и жалость...

«Пальцем не трону теперь», – думает он, слушая ее крепнувший голос, с облегчением чувствуя, что она уже овладела собой. «Пусть *этот*... уедет... Тогда только... Может быть, забудет... привыкнет... полюбит... Ах, зачем я не подождал?.. Моя бедная Наденька, как я тебя замучил моей любовью!.. Как я должен быть противен тебе!.. А ты и виду не показала...»

Садовников ведет репетицию с необыкновенным подъемом. Все взвинчены. Все старательно играют. Закулисная драма отодвинулась.

Надежда Васильевна сидит на сцене в стороне и слушает, опустив голову. Она чувствует, что муж следит за нею. Только изредка метнет она горячий взгляд на трагика и опять опустит ресницы на побледневшие, осунувшиеся щеки. Но ее пальцы, которыми она тихонько хрустит, выдают ее муку.

Мосолов становится все веселее в антрактах. И опять создается какая-то жуткая, напряженная атмосфера. Чего-то ждут...

Наконец пятый акт. Сцена суда. Надежда Васильевна встает, медленно идет на авансцену. Медленно поднимает голову и встречает взгляд Садовникова. Не протягивая руки, он ей кланяется почтительно, низко, чуть не в пояс... «Прости меня, если можешь!..» – говорят этот взгляд и поклон.

Она бледнеет. Нервически задергался уголок рта. Она молча кивает ему головой.

«Шейлоком вас зовут?» – нетвердо звучит ее голос. А глаза глядят зорко в его глаза.

И он отвечает, не отводя покорного взора:

«Меня зовут Шейлоком...»

Они ведут всю сцену нервно, она особенно, с захватывающим темпераментом, так что все артисты аплодируют им. Но странно неподвижны и пронзительно зорки всякий раз, встречаясь, их взгляды, как будто каждый из них ищет заглянуть в душу другого. Как будто каждый спрашивает:

«Неужели конец?»

Надежда Васильевна лежит на широкой двуспальной кровати, отвернувшись к стене. Она притворяется спящей, вдруг она слышит рыдание.

Как ужаленная, вскидывается она. Садится на постели.
– Саша... голубчик... О чем?..

– Оставь... оставь!.. Ты меня не любишь...

Она молчит, скорбная, опустив голову.

Лампадка горит высоко у образа, и в этом неверном свете Надежда Васильевна в белом ночном чепчике, из-под которого черной змейкой спадает коса, кажется Мосолову совсем юной... и такой слабой, такой беспомощной... какой-то чужой... Неутолимая страсть хватает его за горло, туманит зрение. С отчаянием рыдает он, прижавшись к ее худенькой груди.

Устало гладит она его кудри, не отстраняясь, но и не идя навстречу его порыву. Ей хочется умереть в эту минуту. Неужели можно разлюбить? Опять когда-нибудь быть свободной? Спокойной? Счастливой?.. Она любила Хованского. Любила Муратова. И разлука с одним и смерть другого глубоко ранили ее душу... Но одного только Садовникова любила она без критики, без протеста, непосредственно. Всем существом своим любила – душой и телом нераздельно... В нем одном встретила она огромную силу духа. С ним одним мечтала пройти жизнь рука в руку. Разве повторяется такое чувство в жизни?.. И что может она обещать Саше? Чем его утешить?

– Я видел, как ты смотрела на него нынче... Никогда ты не будешь так смотреть на меня...

– Я не изменю тебе, Саша...

– Ах, знаю!.. Разве я этого боюсь?.. Если бы ты могла изменять и лгать, я не любил бы тебя так безумно... Ведь ты

единственная... Нет, и не было другой, как ты...

– Не плачь, Саша... Вот он скоро уедет... Я буду много работать... Забуду... Привыкну к тебе...

– Ты не любишь меня?

– Люблю, Сашенька... только... по-иному... Мне тебя жаль... Мне хорошо с тобой. Тепло... Ну, пожалей меня!.. Будь мне... братом... пока... – голос ее срывается.

Скрипнув зубами, схватившись за волосы, он отпрянул от нее и падает ничком. Она видит, что он дрожит, как в ознобе... Она молчит, задерживая дыхание.

Вдруг он срывается с постели, хватая подушку, убегает из комнаты, хлопнув дверью так, что стекла задрожали.

Босые пятки протопали. Потом затихли на ковре.

Она долго прислушивается...

Уснул в гостиной, на диване, должно быть... Какое счастье!.. Не надо притворяться... Не надо жалеть... Не надо ласкать...

Она в тоске раскидывает руки. И льются невольные слезы, которые комком подкатывали весь день к горлу.

О, одиночество!.. Зачем отреклась она от этой радости? Зачем связала свою жизнь с другою жизнью? Кто возвратит ей теперь утраченное навеки право – плакать о потерянном, мечтать о невозвратном?!

Последняя гастроль. Садовникова проходит в какой-то праздничной обстановке. И эта ли повышенная атмосфера

зрительного зала, или же все пережитое им самим за эти дни так взвинчивает нервы гастролера? Но он великолепен в этой роли – с начала до конца.

Он дает жуткий образ страстного, непримиримого *Шейлока*, ненависть которого к христианам не знает предела. Но он умеет скрывать свои чувства, пока это ему выгодно. Плечи его сутулы. Набухшие веки смиренно опущены. Походка крадущаяся. Медова его речь, и лицемерна его улыбка. И только беглые взгляды, которые он кидает на *Антонио*, и отвращение, когда он отказывается пить и есть с христианами, выдают его истинные чувства.

Картина меняется, когда его должник *Антонио* становится банкротом. *Шейлок*, по условию, должен взамен уплаты вырезать фунт мяса из тела своего кредитора. Напрасно жерих *Порции* – *Бассанио* – предлагает *Шейлоку* внести всю сумму за своего друга, даже втрое уплатить по векселю... Напрасно дож на суде пытается запугать еврея законами и смягчить его просьбами. *Шейлок* стоит на своем. Ему не нужны деньги. Ему нужна кровь его врага. Он вырежет сердце *Антонио*. Он громко вызывает к справедливости... Чего же стоит Венецианская республика, если она не уважает право чужестранцев, ведущих с нею торговлю?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.